Надежда Дурова



Надежда Дурова

ЗАПИСКИ КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЫ



Надежда Дурова. С портрета
худ. *А. Брюллова.*

Надежда Дурова

Записки кавалерист-девицы

Татарское книжное издательство. 1966 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Подготовка текста и примечания
Б. В. Смиренского



Редактор Т. Журавлев
Оформление и иллюстрации А. Анисимова

Надежда Дурова

В начале XIX столетия в рядах русских войск, сражавшихся в Пруссии, появилась загадочная личность — кавалерист-девица, русская амазонка, выступавшая под мужским именем (Соколов, потом Александров). Позднее она участвовала в войне с Наполеоном, совершила геройский подвиг и была награждена высшим знаком военного отличия — георгиевским крестом.

Необычайность этого «происшествия в России» долгое время волновала не только армию, но и все слои общества. Однако истинный смысл его был не в романтической загадке, а в том патриотическом подвиге, который впоследствии стал примером борьбы за освобождение женщины от гнета семьи и общества.

В 1836 году А. С. Пушкин напечатал в своем журнале «Современник» отрывки из записок Надежды Андреевны Дуровой, веденных ею в 1812—1813 годах. Тепло встреченные гением русской литературы, «Записки кавалерист-девицы» были вскоре выпущены отдельным изданием и имели шумный успех. И хотя на титульном листе книги не было имени автора, героиня Отечественной войны и талантливая писательница Н. А. Дурова стала известной всей стране.

I

Вятский дворянин Андрей Васильевич Дуров происходил из рода смоленско-полоцких шляхтичей Туровских. При царе Алексее Михайловиче они были переселены в устраиваемую тогда Уфимскую губернию и звались сначала Туровыми, потом — Дуровыми. Андрей Васильевич владел в Сарапульском уезде деревенькой Вербовка и командовал эскадроном в гусарском полку. Он был женат на дочери богатого помещика Надежде Ивановне Александрович, которая, убежав из дома, обвенчалась с ним тайно от родителей, за что была проклята отцом.

Два года молодые умоляли родителей простить их. Единственной надеждой на прощение могло быть рождение у них сына; однако в 1783 году родилась дочь Надежда, сразу вызвавшая нелюбовь матери. Во время похода, измученная криками ребенка, мать выбросила его из окна кареты. От сильного удара у девочки пошла кровь изо рта и носа, но она осталась жива. Гусары подняли окровавленного ребенка и отдали подскакавшему отцу. С этого дня девочка была вверена попечению флангового гусара, который носил ее на руках.

Так как возить за собой в походах жену и детей было трудно— за это время родились еще двое — отец вышел в отставку и получил место городничего в Сарапуле. Надежда перешла из рук гусара к матери. Она восприняла военное воспитание — стреляла из лука, лазала по деревьям, но не хотела сидеть в горнице и вязать; она лихо выкрикивала кавалерийские команды, но не хотела вышивать и плести кружева. За испорченные рукоделия девочку больно били по рукам. Так возникло неодолимое стремление к свободе, готовясь к которой Надежда поставила себе целью выучиться верховой езде, владению оружием и вступить на военную службу. В это время отец купил черкесского жеребца Алкида, которого подарил дочери вместе с казачьим чекменем. Девочка употребила все силы, чтобы приучить к себе коня — ласкала, кормила сахаром, и добилась своего: в скором времени неукротимый конь стал встречать ее ржанием, разрешал девочке садиться на него и мчаться галопом.

Целыми днями мать заставляла дочерей рукодельничать; зато по ночам Надежда бежала в конюшню, садилась на Алкида и скакала по полям до рассвета.

Когда это раскрылось, мать решила избавиться от непокорной дочери и отвезти ее к старой бабке Александрович. Девушку отвезли в имение «Великая круча» на берегу реки Удай, близ города Пирятина Полтавской губернии. Здесь она получила относительную свободу.

«Я решилась,— говорит она,— хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием божиим». Эти слова отражают мировоззрение будущей героини, нашедшей в себе силы вырваться из-под векового гнета семьи. Но это она сделала позже.

Вскоре ее вызвали обратно домой: из-за измены отца у родителей начались раздоры. Пришло время, и мать выдала непокорную дочку замуж. Этот брак был заключен без любви, по настоянию родителей.

О своем замужестве Надежда Дурова не обмолвилась в «Записках» ни одним словом. Более того, сознательно искажая свой

возраст, она сделала невозможным даже предположение о ее браке. Так, например, читая документ военного министерства — указ об отставке, выданный в 1817 году двадцатичетырехлетней Дуровой, нельзя подумать, что в 1801 году, то есть в возрасте 8 лет, она вышла замуж. Но сохранился другой документ, который прямо раскрывает тайну, — это запись Вознесенского собора о бракосочетании от 25 октября 1801 года за № 44: «Сарапульского земского суда дворянский заседатель 14-го класса Василий Степанович Чернов, 25 лет, понял г. сарапульского городничего секунд-майора Андрея Дурова дочь девицу Надежду, 18 лет»[1].

Слово «понял», или «поял», означало тогда — взял в жены.

Имеется также метрическое свидетельство о рождении у Черновых в январе 1803 года сына Ивана.

Вскоре В. С. Чернов уехал в служебную командировку в Ирбит, вместе с женой и сыном. Однако согласия между супругами не было, и Надежда покинула мужа, оставив ему сына.

Эта краткая страница жизни полностью забыта в воспоминаниях Дуровой, как недостойная памяти. Чем объясняются подобные отступления от истины в «Записках», имеющих биографический интерес? Естественным намерением автора скрыть то, что она не желала сделать общим достоянием; стремлением опоэтизировать события, поддаваясь господствовавшему в то время в литературе направлению романтизма.

Своим возвращением домой дочь снова вызвала гнев матери. Воинственный пыл вспыхнул в Надежде с новой силой, и она начала искать способ привести свое намерение в исполнение — порвать с оковами пола, сделаться воином и любимым сыном отцу.

15 сентября 1806 года казачий полк выступил из Сарапула в поход с тем, чтобы в пятидесяти верстах от города остановиться на дневку. Надежда решила догнать полк на стоянке.

В день своих именин, 17-го числа, ночью Надежда обрезала косы, надела казакин и шапку с красным верхом. Чтобы запутать следы, она сбежала к Каме и оставила на берегу свое женское платье. Через несколько минут она скакала в неизвестность, радуясь освобождению.

«Итак, я на воле! Свободна! Независима! Я взяла мне принадлежащее, мою свободу; свободу! Драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку! Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на будущее время; и отныне до могилы она будет и уделом моим и наградою!»

---

[1] А. Сакс. Кавалерист-девица. А. А. Александров, СПБ., 1912, стр. 3.

Казачий полковник разрешил «сыну помещика Александру Васильевичу Дурову», как назвала себя беглянка, стать в строй первой сотни. Казаки тепло приняли юношу, назвав его «камским найденышем».

Поход продолжался более месяца. Дурова привыкла к тяготам военной службы: носить мужскую одежду, владеть саблей и пикой, ухаживать за конем и постоянно сидеть в седле. В Гродно Дурова завербовалась в регулярные войска — товарищем (рядовым) в Коннопольский уланский полк, под именем Соколова. Она написала отцу письмо, в котором умоляла простить ее побег и позволить идти выбранным путем.

Это не было женской прихотью или любопытством к неизвестному, это не было искательством приключений. Нет, Дурова горела желанием послужить отечеству.

Позднее, в автобиографическом рассказе «Игра судьбы» она так объяснит свой поступок: «Я выступила из своей сферы, чтобы стать под развившуюся тогда нашу орифламму», имея в виду знамя, поднимаемое на копье в разгар боя. Она вступила в армию во время прусской кампании.

22 мая 1807 года коннопольцы участвовали в сражении под Гутштадтом. В этом бою Дурова совершила геройский подвиг — рискуя собой, спасла жизнь раненого офицера, поручика Финляндского драгунского полка Панина. 29 и 30 мая Дурова снова участвует с полком в двухдневных боях под Гейльзбергом, проявляя чудеса храбрости. Одна из гранат разорвалась под самым брюхом ее лошади. Но Дурова вышла из боя живой. Впоследствии поэты воспели кавалерист-девицу в стихах, называя ее Беллоной — именем римской богини войны:

Хребту коня свой стан вверяя,
Свой пол меж ратников скрывая,
Ты держишь с ними трудный путь.
Кипит отвагой девы грудь...
И на коне наездник новый,
В руке сжав сабли рукоять,
Беллоны вид приняв суровый,
Летит на вражескую рать...[1]

Патриотизм Дуровой выразился ярко в ее самоотверженном служении родине, презрении к опасности, в величии ее духа. «Священный долг к отечеству,— говорила она,— заставляет простого солдата бесстрашно встречать смерть, мужественно переносить страдания и покойно расставаться с жизнью».

---

[1] А. Глебов. Девица-воин. «Маяк современного просвещения и образованности», СПБ., 1840, часть VIII, стр. 27—28.

Философия ее была простой, высокой и мужественной: «Неустрашимость есть первое и необходимое качество воина; с неустрашимостью неразлучно величие души, и, при соединении этих двух великих достоинств, нет места порокам или низким страстям».

В сражении у Фридланда, 2-го июня, Дурова выводит из боя и спасает еще одного раненого улана. Шеф полка генерал Каховский делает ей замечание, заявив, что храбрость ее сумасбродна; что она бросается в бой, когда не должно; ходит в атаку с чужими эскадронами, среди сражения спасает встречного и поперечного; что он больше не потерпит этого и отправит ее в обоз. Дурова плакала от несправедливости и печали. Но тут окончилась кампания.

В мае 1812 года войска Наполеона перешли нашу границу. Корнет Александров участвует в боях под Миром, Романовым, Дашковкой, в конной атаке под Смоленском, в Бородинском сражении, 26 августа получает контузию в ногу.

29 августа Александров был произведен в поручики, а после оставления и пожара Москвы становится ординарцем главнокомандующего фельдмаршала М. И. Кутузова.

Командир Ахтырского гусарского полка, партизан и поэт Денис Давыдов в письме к А. С. Пушкину от 10 августа 1836 года вспоминал о своих встречах с Дуровой во время войны: «Дурову я знал потому, что я с ней служил в арьергарде, во все время отступления нашего от Немана до Бородина. Полк, в котором она служила, был всегда в арьергарде, вместе с нашим Ахтырским гусарским полком. Я помню, что тогда поговаривали, что Александров — женщина, но так, слегка. Она очень уединена была и избегала общества, столько, сколько можно избегать его на биваках. Мне случилось однажды на привале войти в избу вместе с офицером того полка, в котором служил Александров, именно с Волковым. Нам хотелось напиться молока в избе... Там нашли мы молодого уланского офицера, который только что меня увидел, встал, поклонился, взял кивер и вышел вон. Волков сказал мне: «Это Александров, который, говорят,— женщина». Я бросился на крыльцо, но он уже скакал далеко. Впоследствии я ее видел на фронте...» [1]

В июле 1813 года Литовский уланский полк выступил в заграничный поход, вторгся в Пруссию, прошел Прагу. Дурова участвует в блокаде крепости Модлин, в переходе через Богемские

---

[1] Соч. А. С. Пушкина. Переписка, под редакцией В. И. Саитова, изд. Акад. наук, СПБ., 1911, т. III, стр. 363.

горы, в осаде крепости Гарбург. Прослужив десять лет в конном строю, поручик Литовского уланского полка Александров 9 марта 1816 года был уволен в отставку в чине штабс-ротмистра.

В послужном списке этого заслуженного кавалерийского офицера, наряду с прочими данными о походах, боях и наградах, стояло: «В службе с 9 марта 1807 года, лицом смугл, рябоват, глаза карие, волосы русые; холост; к повышению достоин»[1].

24 апреля вышел указ об отставке, и Дуровой пришлось проститься с военной службой. Высоким патриотическим пафосом звучит это прощание в заключительных словах «Записок кавалерист-девицы»: «Минувшее счастие! Слава! Опасности! Жизнь, кипящая деятельностью!.. Прощайте!»

Некоторое время Дурова живет в Сарапуле, где ее брат Василий занимает должность городничего. Из переписки с А. С. Пушкиным видно, что в 1835—1836 годах Дурова жила в Елабуге Вятской губернии (ныне — Татарская АССР). Именно в эти годы происходит ее формирование как писательницы. Некоторую роль в этом сыграло и затруднительное материальное положение Дуровой, жившей на небольшую пенсию военного ведомства — одну тысячу рублей в год. В письме к Н. Р. Мамышеву от 23 сентября 1835 года она жалуется, что ей «до крайности нужны деньги». Предлагая Пушкину свои «Записки», она пишет, что желала бы продать их предпочтительно ему, хотя они написаны и не для печати. Для устройства «Записок» Дурова занимает у сестры восемьсот рублей и выезжает в Петербург, где происходит ее знакомство с Пушкиным.

Видевшая ее в это время А. Я. Головачева-Панаева описывает: «Она была среднего роста, худая, лицо земляного цвета, кожа рябоватая и в морщинах; форма лица длинная, черты некрасивые; она щурила глаза, и без того небольшие... Волосы были коротко острижены и причесаны, как у мужчин. Манеры у нее были мужские: она села на диван... уперла одну руку в колено, а в другой держала длинный чубук и покуривала»[2].

Для издания своих повестей Дурова еще раз приезжала в Петербург в 1840 году. В это время с ней виделась Т. П. Пассек, отметившая это в своих воспоминаниях[3].

Последние годы Дурова жила в Елабуге, в маленьком домике, совершенно одинокая, если не считать четвероногих друзей. Но

---

[1] А. Сакс. «Кавалерист-девица». СПБ., 1812, стр. 24—25.

[2] А. Я. Панаева (Головачева). Воспоминания. М., 1956, стр. 62—63.

[3] Т. П. Пассек. Из дальних лет. Academia. М.—Л., 1931, стр. 341—343.

это были уже не строевые лошади, а собаки или кошки. Любовь к животным всегда была в роду Дуровых. Вероятно, знаменитые дрессировщики, народные артисты Владимир Леонидович и Анатолий Леонидович Дуровы унаследовали ее от своей знаменитой прабабки.

Все жители Елабуги знали стареющую женщину-воина и шли к ней за советами, с просьбами и нуждами. Она принимала живое участие в каждом человеке и ходатайствовала за всех. Если дело зависело от городничего — она обращалась с записками к нему, если необходимо было обратиться к самому царю — она писала прошения «на высочайшее имя».

В семье Вальковых, жившей в Вятке, долгое время хранились памятные вещи кавалерист-девицы елабужского периода жизни — ее сабля, портреты, сочинения и картина «Битва при Гутштадте».

Назвавшись в 1806 году мужским именем, Дурова носила его шестьдесят лет, ни разу не сделав попытки вернуться к настоящей фамилии. Даже от собственного сына она требовала обращения к себе, как к Александрову.

Н. А. Дурова умерла 21 марта 1866 года, на 83 году жизни. Похоронили ее на Троицком кладбище Елабуги, с воинскими почестями. В документе о траурной церемонии, где она и после смерти названа Александровым, говорится: «Приказ по 8 резервному пехотному батальону от 23 марта 1866 года, № 82. Завтрашнего числа по случаю предания земле тела умершего отставного штабс-ротмистра Литовского уланского полка А. Александрова, назначается сборная команда по 10 человек из роты и 2 унтер-офицера; с ружьями и в амуниции, под командой капитана Панкратьева; кроме того, по 2 унтер-офицера из рот для несения гроба. Для несения же ордена Георгия назначается подпоручик Казанский. Вынос из квартиры будет в 9 часов утра, а также быть хору музыкантов. Командир батальона подполковник Семенов»[1].

На могильной плите было написано, что Дурова скончалась 29 марта, 78 лет от роду. Надпись с этой неверной датой и неправильным возрастом вошла в «Материалы для русского некрополя» И. М. Картавцова[2].

В 1901 году на могиле Дуровой состоялось торжественное открытие памятника. Были произнесены речи воинским начальником полковником Занфировым и городским головой Башкировым.

---

[1] Архив Управления воинского начальника г. Елабуги (А. Сакс. «А. А. Александров». СПБ., 1912, стр. 59).

[2] Автограф в рукописном отделе Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

После троекратного ружейного залпа упавшее покрывало открыло эпитафию:

«Надежда Андреевна ДУРОВА,
по повелению императора Александра — корнет Александров,
Кавалер военного ордена.
Движимая любовью к родине, поступила в ряды
Литовского уланского полка. Спасла офицера, награждена
Георгиевским крестом.
Прослужила 10 лет в полку, произведена в корнеты и удостоена чина штабс-ротмистра.
Родилась в 1783 г. Скончалась в 1866 г.
Мир ее праху! Вечная память в назидание потомству
ее доблестной душе!»

II

Если бы Надежда Дурова не совершила ничего более замечательного в своей жизни, кроме военных подвигов, то и тогда ее имя заслуживало бы занесения на страницы истории. Но она много сделала и на другом поприще — художественной литературы.

К сожалению, ее литературная деятельность оказалась полностью забытой. Как мы видели, о ней не было даже упомянуто в надгробной эпитафии. Не нашлось места для писательницы Дуровой и в советской литературной энциклопедии.

Деятельность Н. А. Дуровой как писательницы тем более удивительна, что она никогда нигде не училась. Однако оставленное ею литературное наследство выдает в ней подлинного мастера, вызывавшего восхищение не только читателей, но и корифеев литературы — А. С. Пушкина и В. Г. Белинского.

Знакомство А. С. Пушкина с творчеством Дуровой произошло благодаря ее брату, Василию Андреевичу Дурову, предложившему издать сестрины «Записки». Судьба автора показалась Пушкину так любопытна и таинственна, что разрешение загадки «кавалерист-девицы», по его мнению, должно было произвести сильное впечатление. Он согласился купить рукопись.

Поместив отрывок из «Записок» в журнале «Современник», Пушкин снабдил его следующим предисловием: «С неизъяснимым участием прочли мы признание женщины, столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие

окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным» [1].

Названное Пушкиным имя автора «Записок» встревожило Дурову, и она просит издать книгу под псевдонимом «Русской амазонки, известной под именем Александрова». Вышедшее вслед за журнальной публикацией отдельное издание имело заглавие: «Кавалерист-девица. Происшествие в России» и вовсе не указывало имени автора. Рассказ в «Записках» ведется от лица А. П. Дурова, хотя на титульном листе издатель Иван Бутовский указал, что сочинительница «Записок» — его двоюродная сестра, то есть женщина. Таким образом, Пушкин был первым, кто раскрыл русским людям полное имя и тайну корнета Александрова, рассказал историю кавалерист-девицы.

Дурова относилась к Пушкину с чувством глубокого преклонения перед его талантом, в чем опять-таки выразилась ее большая художественная культура. Неодолимое желание привлечь на свои произведения «сияние его имени» владеет ею. «Я только это и имел в виду,— пишет она в своих записках,— чтобы отдать их на суд и под покровительство таланту, которому не знаю равного». И сияние имени Пушкина озарило «Записки» Дуровой. Литературное достоинство их было, по мнению В. Г. Белинского, так велико, что некоторые приняли их за мистификацию со стороны Пушкина. В числе этих некоторых был и сам Белинский. «Если это мистификация, писал он, то признаемся, очень мастерская; если подлинные записки, то занимательные и увлекательные до невероятности».

Да, это были подлинные записки, и действительно они читались с увлечением. Главный интерес в них представляла незаурядная личность автора. «Боже мой,— писал далее Белинский,— что за чудный, что за дивный феномен нравственного мира героиня этих записок, с ее юношескою проказливостию, рыцарским духом; отвращением к женскому платью и женским занятиям, с ее глубоким поэтическим чувством, с ее грустным, тоскливым порыванием на раздолье военной жизни из-под тяжкой опеки доброй, но не понимавшей ее матери!» [2]

Особенно высокого мнения критик был о языке «Записок»: «И что за язык, что за слог у Девицы-кавалериста! Кажется, сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо, и ему-то обязана она этою мужественною твердостию и силою, этою яркою выразитель-

---

[1] «Современник», 1836, т. II, стр. 53.

[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, М., 1953, т. III, стр. 149.

ностию своего слога, этой живописною увлекательностию своего рассказа, всегда полного, проникнутого какою-то скрытою мыслию» [1].

К этому отзыву великого критика можно добавить еще несколько слов А. С. Пушкина, сказанных им при выходе первого тома «Записок»: «Читатели «Современника» видели уже отрывки из этой книги. Они оценили, без сомнения, прелесть этого искреннего и небрежного рассказа, столь далекого от авторских притязаний, и простоту, с которой пылкая героиня описывает самые необыкновенные происшествия. В сем первом томе описаны детские лета, первая молодость и первые походы Надежды Андреевны. Ожидаем появления последнего тома, дабы подробнее разобрать книгу, замечательную по всем отношениям» [2].

Несколькими словами Пушкин обрисовал главные достоинства писательницы — искренний и небрежный рассказ, отсутствие авторских притязаний, предельную простоту. Пушкину не удалось сделать разбора следующего тома. Дурова послала ему вторую часть «Записок» 22 декабря 1836 года. Но издание их уже было поручено И. Г. Бутовскому. Дурова вспоминает об этом в повести «Год жизни в Петербурге»: «Я имела глупость лишить свои Записки блистательнейшего их украшения, их высшей славы — имени бессмертного поэта!»

Находившаяся в Петербурге во время дуэли и смерти Пушкина, Дурова ни словом не упомянула в повести об этих событиях. Чем объяснить, что, безусловно зная обстоятельства последнего времени жизни Пушкина, она даже намеком не обмолвилась о них? Только бдительностью царской цензуры, стоявшей на страже самодержавного строя.

В 1838 году в литературном прибавлении к «Русскому инвалиду» № 41 были напечатаны дополнения к «Запискам» — «Некоторые черты из детских лет». Прочитав их, Белинский отметил: «Глубоко поразил нас этот отрывок... и по выходе книги мы вновь перечли красноречивые и живые страницы дико-странного и поэтического детства Девицы-кавалериста... ее детство — это богатый предмет для поэзии и мудреная задача для психологии» [3].

Собственно историческое значение «Записок» не велико. Еще Денис Давыдов отмечал в них противоречия и недосмотры. Но

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, М, 1953, т. III, стр. 149.

[2] «Современник», 1836, т. IV, стр. 303.

[3] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, 1953, т. III, стр. 149.

литературные достоинства, отмеченные Пушкиным и Белинским, несомненны. «Записки» Дуровой с «Добавлением» 1839 года читал и Н. В. Гоголь. 30 мая 1839 года он писал М. И. Балабиной: «Вы писали ваше письмо, как сами говорите, под влиянием «Записок» Александрова или Дуровой, которые вы в то время читали. Ваши суждения об этой книге и оригинальны и, вместе с тем, тонки и верны» [1].

«Записки» представляют собою как бы отблеск войны 1812 года, мелькнувший, по воле автора, в литературе тридцатых годов. Они содержат красочные характеристики деятелей Отечественной войны (Кутузов, Ермолов, Коновницын), рисуют состояние и боевую жизнь русской легкой кавалерии (гусары, уланы, казаки) — на маневрах и зимних квартирах, в походах и сражениях. Но, кроме этих исторических данных, в «Записках» есть немало красот природы и живое описание быта разных слоев общества. Несмотря на откровенно рассказанные случаи нарушения воинской дисциплины со стороны автора (сон на посту, отставание от полка, невыполнение приказаний), молодая женщина, отказавшаяся от радостей мирной жизни, от семьи и своего пола, несущая все тяготы кавалерийской службы, вызывает восхищение своей отвагой и патриотизмом. Со страниц книги встает мужественный образ героини войны, единственной русской женщины, награжденной георгиевским крестом.

В той положительной роли, которую сыграл в развитии общественного самосознания патриотизм русского народа, выросший в Отечественной войне, есть доля и ратного подвига Н. Дуровой. С другой стороны, в том «зарождении публичности, как начале общественного мнения», которое вызвано, по словам В. Белинского, войной 1812 года, Н. Дурова также приняла участие изданием своих «Записок».

В истории развития русской прозы записки участников Отечественной войны 1812 года составляют особый этап, являясь неким самостоятельным жанром. К ним относятся: Ф. Н. Глинка, «Письма русского офицера», М., 1815; Д. В. Давыдов, «Опыт теории партизанских действий», М., 1821; И. М. Муравьев-Апостол, «Письма из Москвы в Нижний Новгород» («Сын отечества», 1813—1814 гг.); С. Н. Глинка, «Записки о 1812 годе», СПБ., 1836; И. Лажечников, «Походные записки русского офицера», М., 1836; И. Радожицкий, «Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год»; В. И. Штейнгель, «Записки о походе 1812—1813 гг.» (1815); В. С. Норов, «За-

---

[1] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, 1953, т. XI, стр. 227.

писки о походе 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульмского боя» (1834) и другие. Большинство военных записок написано очевидцами и участниками сражений, непосредственно на поле боя, в походах и на биваках. Этим они выгодно отличаются от псевдоисторических романов Булгарина, Загоскина и других, в которых часто отсутствуют живые люди и описываются вымышленные события (см., например, роман Загоскина «Рославлев, или русские в 1813 году»).

«Записки кавалерист-девицы» Н. Дуровой относятся к жанру военных записок, но имеют и некоторое отличие. В то время как многие авторы (Ф. Глинка, В. Норов, В. Штейнгель и др.) стали впоследствии декабристами, хотя и придерживались конституционно-монархической платформы (тот же Ф. Глинка, И. Муравьев-Апостол),— Н. Дурова не была в их рядах, и пребывание в армии до конца войны не изменило ее верноподданнических взглядов. В отличие от публицистического характера большинства военных записок, Дурова наибольшее внимание уделяет последовательному изложению событий, пропущенному сквозь призму личных переживаний (см., например, описание гибели любимого коня Алкида).

Дурова глубоко чувствует природу, которая производит на нее неотразимое впечатление своей величественностью. Суровая красота могучей реки, катящей свои воды среди дремучих лесов и высоких гор, оказала свое влияние на характер героини записок. «Я остановилась взглянуть еще раз на прекрасный и величественный вид, открывающийся с горы: за Камою, на необозримое пространство видны были Пермская и Оренбургская губернии. Темные, обширные леса и зеркальные озера рисовались, как на картине. Город у подошвы утесистой горы дремал в полуночной тишине; лучи месяца играли и отражались на позолоченных главах собора и светили на кровлю дома...»

Да, за эту мирную картину нужно было бороться с оружием в руках! Такое же восторженное описание Камы мы находим в позднейшей повести Дуровой «Нурмека»: «Крутой, высокий берег осмью ровными уступами спускается к родимой реке моей. К ее быстрым, чистым, светлым струям ведут эти огромные природные ступени. Какое величие! Какое великолепие! Как прекрасна, как благородно прекрасна страна...»

Здесь в каждом слове видны восхищение и преклонение перед величием любимой родины. Но эта любовь не созерцательная, а полная решимости действия. Своеобразным итогом звучат слова автора «Записок»: «Какая жизнь, какая полная, радостная, деятельная жизнь!.. Каждый день я живу, я чувствую, что живу...»

Заслуга «Записок» Дуровой в том, что они показали те патриотические настроения и тот национальный общественный подъем, которые в дальнейшем определили идеологию декабристов.

Такова эта книга Н. Дуровой, замечательный человеческий документ, интереснейшее явление в литературе тридцатых годов XIX века.

III

Если бы Надежда Дурова не имела призвания писателя — ее литературная деятельность не пошла бы дальше опубликования воспоминаний о войне. Но воспоминания были только началом, за которым последовали и рассказы, и повести, и романы. Правда, начало было сделано под покровительством Пушкина, но нельзя не признать и личных дарований автора. Обращает на себя внимание широкая литературная эрудиция Дуровой: несмотря на отсутствие у нее систематического образования, мы встречаем в ее произведениях «Федру» Расина, «Сида» Корнеля, «Хромого беса» Лесажа, «Фингала» Озерова, «Людмилу» Жуковского, видим знание истории, мифологии, украинского, польского, французского языков.

После «Записок» Дурова напечатала в журнале «Библиотека для чтения» рассказ «Т-ская красавица, или игра судьбы»[1]. В сборник повестей и рассказов Н. Дуровой 1839 года он вошел под названием «Игра судьбы, или противозаконная любовь. Истинное происшествие, случившееся на родине автора». Рассказ этот имеет автобиографические черты. В основе его лежит тема женской судьбы и протест против косности семейных отношений. В том же журнале в 1838 году был напечатан рассказ «Граф Мавриций».

В следующем году вышла отдельным изданием повесть «Год жизни в Петербурге, или невыгоды третьего посещения». Эта повесть интересна во многих отношениях: кроме автобиографических черт, она содержит ценные свидетельства современника о жизни Пушкина. Мы видим поэта, отдыхающего в кругу семьи, занятого литературной работой и издательскими делами. Дурова рассказывает о местах старого Петербурга, где она бывала пятнадцать лет назад. Многие из этих мест овеяны именем Пушкина. Вот домик в Коломне, где более двух лет Дурова жила у своего родственника. Не он ли описан в поэме Пушкина? Вид памятника Александру I заставляет ее горестно всплеснуть руками.

---

[1] «Библиотека для чтения», 1837, т. 23, кн. 1.

Сколько воспоминаний вызывает этот апофеоз войны — высокая с ангелом колонна, на которую Дурова смотрит с невыразимой печалью. Вот Каменный остров, где Пушкин снимает дачу. Дурова осматривает город. Пушкин показывает ей место казни декабристов, но она с ужасом и содроганием отвращает взор от эшафота «несчастных».

«Девицу-кавалериста» принимают во многих домах, ее зазывают в гости, вспоминая о ее героическом прошлом и интересуясь настоящим; еще бы, женщина в черном сюртуке, в серых с лампасами брюках, с орденом в петлице — как это необычайно!

Уместно привести здесь отрывок из неопубликованных воспоминаний об одном из «посещений» Дуровой литератора и драматурга Н. В. Сушкова в Петербурге. «Солдат Дуров заслужил георгиевский крест. Далее, переходя из чина в чин, он произведен в штабс-ротмистры. Некоторое время предводительствовал эскадроном... Я видел этого заслуженного воина в доме В. С. Шереметева. К обеду он повел одну из хозяек. После обеда курил табак из своей гусарской трубки. На свободе Александров вздумал к лаврам воина прибавить лавры писателя. Давно я читал кое-что из его сочинений, и теперь не вспомню, на что бы указать; помню только, что они нравились, и в похвалу им тогда говорили, что рука его так же хорошо владеет и пером, как саблей» [1].

Однако во второй раз появление Дуровой уже не вызывало прежнего энтузиазма, а третье посещение иногда оканчивалось тем, что хозяев не было дома. «Слово невыгоды еще очень недостаточно, милостиво в сравнении с тем злом, которого причиною бывает третье посещение. Камень преткновения для всех действий, источник неудач, первый шаг к разочарованию, начало порчи всякого дела. Третье посещение!» Моральная фальшь и ложь так называемых «светских» отношений разоблачаются писательницей с большой силой. В связи с этим «Год жизни в Петербурге» можно отнести к жанру «светской повести» — одному из видов романтических повестей 20—30-х годов XIX века. В «Годе жизни» Дурова продолжает тему обличения света, начатую Пушкиным в отрывках «Гости съезжались на дачу» (1828—1830), «Роман в письмах» (1829) и блестяще завершенную в «Евгении Онегине» и «Пиковой даме» (1833). В пестрой галерее героев «Года жизни», скрытых автором под инициалами, можно угадать некоторых

[1] Публикуется по автографу Н. В. Сушкова (Рукоп. отд. Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 297, п. 1356, ед. 11).

высокопоставленных невежд, вроде вице-президента Академии наук князя М. А. Дондукова-Корсакова, известного по пушкинской эпиграмме:

В Академии наук
Заседает князь Дундук...

Обличительными красками изображаются нравы петербургского «света» — его безделие, ханжество, отсутствие высоких интересов и побуждений. Перед читателем ярко встает конфликт между пустым обществом и находящимся в гордом одиночестве автором, разрешающийся не в пользу последнего.

Особенностью повести была ее современность. Как отметил в своем отзыве П. А. Плетнев, успех повести увеличивался оттого, что выход ее не был отделен законным промежутком времени от эпохи события. Плетнев полагал это необходимым условием для «художнического интереса». Любопытнейшим предметом для наблюдения, неистощимым для занимательных рассказов, Плетнев считал самого автора, оживляющего своим талантом каждое событие[1]. И несмотря на современность, все же это произведение Дуровой было незаслуженно забыто. Оно ни разу не переиздавалось. Никто не вспомнил о нем и в связи с изданием воспоминаний о Пушкине (см., например, «Пушкин в воспоминаниях современников» в издании ГИХЛ, 1950). Между тем, как уже говорилось, в повести Дуровой содержатся невыдуманные, имеющие большую ценность рассказы о великом поэте.

В 1837 году Дурова была не только в Петербурге, но и в Москве, как это видно из дневника за этот год писателя-москвича И. М. Снегирева: «25 мая. Поутру были у меня И. Д. Мальцов и кавалерист-девица с георгиевским крестом — Александров, с повестью «Викарий»[2].

Упомянутая И. М. Снегиревым повесть «Викарий» была напечатана под заглавием «Павильон» в 1839 году в журнале «Отечественные записки». В сборник повестей Дуровой она вошла с названием: «Людгарда, княжна Го-ти. Рассказ унтер-офицера Рудзиковского». Повесть написана на материале новелл, вошед-

---

[1] Соч. и переписка П. А. Плетнева, СПБ., 1885, т. II, стр. 267—268.

[2] Дневник И. М. Снегирева, М., 1904, т. I, стр. 243.

ших в третью часть «Записок» (Добавление к «Кавалерист-девице», изданное в 1839 г.).

Об этой и других повестях Дуровой мы располагаем теперь мнением В. Г. Белинского, обнаруженным ныне в не подписанных им журнальных статьях[1]. Известное до сих пор мнение критика представляло собою лишь общую оценку таланта писательницы. Оно было выражено им в статье 1840 года о полном собрании сочинений А. Марлинского: «Важны в истории нашей поэзии имена таких, более или менее блестящих и сильных, талантов, каковы Александров (Дурова), Вельтман, Лажечников, Павлов Н. Ф., кн. Одоевский и другие»[2].

Найденная большая статья В. Г. Белинского о повести «Павильон» была напечатана без подписи в журнале «Московский наблюдатель», 1839 г., ч. II; № 4, стр. 70—85. Великий критик дает и этому произведению Н. Дуровой положительный отзыв[3].

Не довольствуясь этим отзывом, в связи с тем, что Н. А. Полевой в журнале «Сын отечества» напечатал критику на «Павильон», Белинский отвечает ему и берет Дурову под защиту. Он говорит: «Девицу-кавалериста отнюдь не должно смешивать с Р. М. Зотовым (1795—1871; писатель, драматург, автор исторических романов — *Б. С.*), даже и в шутку, а не только вправду. Девица-кавалерист пишет повести потому же самому, почему писал и пишет их теперешний редактор «Сына отечества», с тою только разницей, что перевес права бесспорно на ее стороне, потому что на ее стороне перевес таланта»[4]. Редактором «Сына отечества» был в это время О. И. Сенковский.

1839 год был у писательницы наиболее плодовитым. В «Отечественных записках» были напечатаны «Два слова из житейского словаря: 1. Бал. 2. Воспоминания». В сборнике «Сто русских литераторов», том I, помещена повесть «Серный ключ» с портретом автора работы А. Брюллова. Последняя вошла в сборник повестей Дуровой под названием «Черемиска». Черемисская повесть. Рассказ исправницы Лязовецкой».

Повесть написана в присущем Дуровой романтическом духе. Ее также отметил Белинский, разбирая сборник «Сто литерато-

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. III, М., 1953, стр. 148—156.

[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. IV, М., 1954, стр. 26.

[3] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. III, М., 1953, стр. 149—156.

[4] Там же, стр. 155—156.

ров»: «По части романически-повествовательной замечателен еще «Серный ключ» г. Александрова (Девицы-кавалериста)» [1].

Художественный прием создания повести «Серный ключ» заключается в обычной манере автобиографических произведений Дуровой: герою повести рассказывают историю, послужившую сюжетом произведения.

Уланский ротмистр, в образе которого можно подразумевать автора, совершает обычную прогулку в окрестностях родного города, где он проводит отпуск. Герою скучно. Природа родного края — величественная река, обширные леса, высокие горы — не вызывает у него должного восхищения. Ему вспоминается шумная военная жизнь, биваки и походы, богатые замки польских магнатов...

Вблизи города славится целебными свойствами горячий серный ключ. Знакомая дама, лечившая детей у источника, рассказывает ротмистру слышанную ею там романтическую историю любви черемисской девушки Зеилы к пастуху Дукмору.

В своих изобразительных средствах Дурова прибегает к поэзии, умело используя заложенные в жителях лесного края природные способности к песне. Интересна баллада из этой повести, которую поет Зеила, смывая у ключа мнимую кровь убитого Дукмора с кудрей своих:

Бежит, гремит, кипит, клокочет
Волшебный ключ моей страны!
Злой Керемет в лесу хохочет
В часы полночной тишины.

Бежит, гремит, на камнях скачет
Волшебный ключ моей страны!
На берегу девица плачет
В часы полночной тишины.

Бежит, гремит, кипит, сверкает
Волшебный ключ моей страны!
С кудрей девица кровь смывает
В часы полночной тишины.

Среди разнообразных талантов Дуровой баллада является ярким примером ее стихотворного дара.

Повесть «Серный ключ» сочувственно рисует далекое прошлое черемисского (марийского) народа, находившегося тогда на более

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. III, М., 1953, стр. 102.

низкой ступени общественного развития. Описывая этнографические подробности быта и жизни черемисов, автор местами допускает оскорбительные для них выражения. Здесь следует иметь в виду, что Дурова была далека от понимания классовой сущности политики угнетения малых, «инородческих» наций, проводимой царизмом; писательница отражала взгляды дворянско-помещичьей среды. Вместе с тем в повести «Серный ключ» слышится любовь к затерянному в лесах народу. Дурова восхищается «природной способностью к поэзии, которою в высшей степени одарены все черемисы».

В том же 1839 году вышло в свет крупнейшее произведение Дуровой — роман «Гудишки» в 4 частях, общим объемом 900 страниц. Основой романа послужила новелла под тем же названием, помещенная в «Добавлении к «Кавалерист-девице». В одном из походов Дуровой было поручено отвезти приказ к командиру взвода, находившемуся в пяти километрах в селении Гудишки. Она выехала при заходе солнца. Но найти командира взвода оказалось не так просто, ибо в округе было двенадцать селений с названием «Гудишки». В новелле рассказываются ночные приключения посланного. Содержание романа, конечно, неизмеримо шире. О нем положительно отозвался журнал «Библиотека для чтения»: «Действие происходит в Литве, которой нравы сочинительница так хорошо знает и так прелестно описывает. Рассказ вообще быстр и увлекателен. «Гудишки», как они есть, читаются с удовольствием» [1].

Несколько иным был отзыв журнала «Отечественные записки»: «Произведения Александрова в короткое время поставили его в ряд с другими почетными именами нашей литературы. В самом деле, он обладает уменьем рассказывать легко, заманчиво, приятно, иногда возвышается до создания художественного, как, например, в «Павильоне», и всегда произведениями своими оставляет глубокое впечатление в душе читателя... Новый роман его «Гудишки» весьма занимателен, но во многих отношениях не может выдержать строгой критики» [2].

Наконец, в 1839 году было издано и собрание сочинений Дуровой, под названием «Повести и рассказы», в четырех томах. В него вошли историческая повесть «Нурмека. Происшествие из времен Ивана Грозного вскоре после покорения Казани»; рассказ

---

1 «Библиотека для чтения», СПБ., 1839, т. 35, стр. 1—2.
2 «Отечественные записки», 1839, т. IV, № 7, стр. 95—98.

«Т-ская красавица, или Игра судьбы»; «Людгарда, княжна Го-ти» («Павильон»); повесть «Серный ключ», или «Черемиска».

В 1840 году Дурова выпустила три новые повести. Литературной плодовитости писательницы удивлялся Белинский: «Г. Александров, видно, решился дарить нам каждый месяц по большой повести», — писал он [1].

Эти повести написаны хорошим слогом и представляли занимательное чтение. В них были положительные достоинства — заманчивость происшествий, намечены даже оттенки характеров, однако все они слабее предыдущих произведений. Одну из этих повестей Дуровой — «Угол» Белинский сравнил с повестью А. Ф. Вельтмана «Генерал Каломерос» и пришел к выводу, что «авторы обоих — почетные лица нашей литературы, замечательные, хотя и неравные между собой таланты». Отметив недостаток вероятности в содержании, запутанность в вымысле и бледность характеров, Белинский указал, что несмотря на это, повесть Дуровой будет читаться с бо́льшим удовольствием, чем повесть Вельтмана [2].

Вторая повесть «Ярчук — собака духовидец» подверглась справедливой критике, как длинно, растянуто и многословно изложенная, как путаница разных невероятностей, лишенных занимательности. Белинский отозвался о «Ярчуке» как о «груде нескладных небылиц» [3].

Третья повесть «Клад» родственна двум первым — в ней та же запутанность сюжета, та же увлекательность рассказа и тот же правильный, плавный, живой язык. В довольно сочувственной оценке Белинского говорилось: «Чего нет в этой повести! Если рассказать ее содержание — никто и читать ее не будет: так страшно оно. Герои — родные братья, дети татарина. Место действия — неприступное ущелье между скалами, на берегах реки Камы, которые покрыты непроходимым лесом. Впрочем, клада не оказывается налицо, да и повесть вдруг оканчивается. Хороший слог и увлекательность рассказа отличает два эпизода — семейная история татарина Рашида и семейная история Иохая» [4].

---

[1] «Отечественные записки», 1840, т. XII, № 10, стр. 51—54 (без подписи). Цитируется по Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. IV, стр. 315.

[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. IV, М., 1954, стр. 308—309.

[3] Там же, стр. 317.

[4] Там же, стр. 382—383.

Как мы видели, литературная деятельность Дуровой не ограничилась «Записками кавалерист-девицы». Кроме этой, лучшей своей книги, она является автором романа, ряда рассказов и повестей. В некоторых из них Дурова дает яркие жанровые картины с бытовыми и этнографическими подробностями из реальной жизни.

Перелистывая пожелтевшие, столетней давности страницы произведений Дуровой, все время чувствуешь страстную взволнованность автора, ее горячую любовь к родине, к своему народу и его прошлому. В противовес оторванным от жизни, мистическим повестям В. Одоевского, фальсифицировавшим правду нравоописательным очеркам Ф. Булгарина и псевдоисторическим романам М. Загоскина, в повестях Н. Дуровой мы видим черты прогрессивного романтизма, обращенного к реальной действительности и верно отображающего ее.

К особенностям самобытного литературного стиля Дуровой следует отнести его разнообразие. Эмоциональный, возвышающийся местами до героического пафоса в «батальных» произведениях, он характерен короткими, «рублеными» фразами, иногда в одно-два слова, прерываемыми восклицаниями, многоточиями и другими знаками препинания.

Отрывистый, энергичный стиль, насыщенный эпитетами и сравнениями, заметен также в описаниях природы в заключительных страницах «Записок». Наоборот, в романтических вещах этот стиль меняется, переходя от мужественно-твердого к женственно-мягкому, даже сентиментальному: «Увы! а где ж то святое непорочное время, когда оно вторило одному пению птиц! Прошло, невозвратно прошло!»

Взятые в целом произведения Н. А. Дуровой представляют значительное явление русской прозы тридцатых годов.

IV

Закончив в 1840 году издание повестей, Дурова навсегда отказалась от литературной деятельности. В течение двадцати шести последующих лет она не написала ни строчки. Может быть, здесь сказалось отсутствие ярких впечатлений во время жизни в Елабуге, может быть, подействовала резкая критика последних произведений.

Сама Дурова на вопрос, отчего она больше не пишет, отвечала так: «Оттого, что мне теперь не написать так, как я писала прежде, а с чем-нибудь явиться в свет не хочется».

Так или иначе, литературных гонораров больше не было, и единственным источником существования стала получаемая от военного ведомства пенсия в размере тысячи рублей в год. На эти деньги можно было бы вести безбедную жизнь, если бы не постоянная помощь, которую оказывала Дурова нуждающимся. Как и в прошлые «гусарские» времена, она по-прежнему не знала цены деньгам и жила в крайней бедности. Достаточно сказать, что после смерти у нее нашли один рубль.

Единственным произведением этих лет является найденная нами в архиве историка М. П. Погодина неизвестная статья Н. А. Дуровой о русской женщине, относящаяся к 1858 году. Высказываемые в ней мысли настолько прогрессивны, что, несмотря на истекшее столетие со времени написания, не потеряли своего значения до наших дней.

«В наше время женщина скучающая, не умеющая найти себе занятие, утомленная бездействием, такая женщина более неуместна, чем когда-либо! Теперь, более, чем когда-либо, нужны русскому обществу женщины деятельные, трудящиеся, разумно сочувствующие великим событиям, которые происходят около них, и способные вложить свою лепту для того здания общественного блага и устройства, которое воздвигается общими усилиями. Теперь русскому обществу нужнее, чем когда-либо не женщины-космополитки, а русские женщины во всем прекрасном значении этого слова!»[1]

Такой русской женщиной, во всем прекрасном значении этого слова, была написавшая эти строки Надежда Дурова.

Отважно вступив, по совету Пушкина, на поприще писателя, Дурова оставила разнообразное литературное наследство, которое получило в большинстве случаев высокую критическую оценку.

Таковы «Записки кавалерист-девицы» — книга, по мнению Пушкина, «замечательная по всем отношениям»; таковы «Игра судьбы» и «Год жизни в Петербурге», разоблачающие фальшь и лицемерие «светского общества»; таков «Павильон» — по словам Белинского, «в высшей степени мастерской рассказ истинного события».

Ряд произведений Дуровой посвящен изображению жизни и быта таких национальностей, как марийцы, татары, поляки, литовцы. Правда, толкование исторических фактов в этих произведениях иногда ошибочно (повесть «Нурмека»); иногда проскаль

---

[1] Публикуется впервые по копии из архива М. П. Погодина в рукописном отделе Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина (фонд 231, разд. III. п. 8, № 58).

зывает высокомерное отношение к малым нациям, угнетавшимся царизмом, например, к «черемисам и прочим им подобным полудиким народам» (повесть «Серный ключ»); здесь Дурова не поднимается выше взглядов, господствовавших в то время в дворянско-помещичьей среде. Но живое изображение эпохи, глубокое проникновение в национальное своеобразие народной жизни — в этих произведениях несомненны.

Советским людям понятны и дороги патриотические чувства, увлекавшие Н. А. Дурову на героические подвиги во время войны, во славу любимой родины.

Романы и повести талантливой писательницы Н. А. Дуровой также занимают достойное место в истории русской литературы.

Б. Смиренский

ЗАПИСКИ КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЫ

Детские лета мои

Мать моя, урожденная Александровичева, была одна из прекраснейших девиц в Малороссии. В конце пятнадцатого года ее от рождения женихи толпою предстали искать руки ее. Из всего их множества сердце матери моей отдавало преимущество гусарскому ротмистру Дурову; но, к несчастию, выбор этот не был выбором отца ее, гордого властолюбивого пана малороссийского. Он сказал матери моей, чтоб она выбросила из головы химерическую мысль выйти замуж за москаля, а особливо военного. Дед мой был величайший деспот в своем семействе; если он что приказывал, надобно было слепо повиноваться, и не было никакой возможности ни умилостивить его, ни переменить однажды принятого им намерения. Следствием этой неумеренной строгости было то, что в одну бурную осеннюю ночь мать моя, спавшая в одной горнице с старшею сестрою своею, встала тихонько с постели и, взяв салоп и капор, в одних чулках, утаивая дыхание, прокралась мимо сестриной кровати, отворила тихо двери в залу, тихо затворила, проворно перебежала ее и, отворя дверь в сад, как стрела, полетела по длинной каштановой аллее, оканчивающейся у самой калитки. Мать моя поспешно отпирает эту маленькую дверь и бросается в объятия ротмистра, ожидавшего ее с коляскою, запряженною четырьмя сильными лошадьми, которые, подобно ветру, тогда бушевавшему, понесли их по киевской дороге.

В первом селе они обвенчались и поехали прямо в Киев, где квартировал полк Дурова. Поступок матери моей, хотя и мог быть извиняем молодостью, любовью и достоинствами отца моего, бывшего прекраснейшим мужчиною, имевшего кроткий нрав и пленительное обращение, но он был так противен патриархальным нравам края малороссийского, что дед мой в первом порыве гнева проклял дочь свою.

В продолжение двух лет мать моя не переставала писать к отцу своему и умолять его о прощении, но тщетно: он ничего слышать не хотел, и гнев его возрастал, по мере как старались смягчить его. Родители мои, потерявшие уже надежду умилостивить человека, почитавшего упорство характерностью, покорились было своей участи, перестав писать к неумолимому отцу; но беременность матери моей оживила угасшее мужество ее; она стала надеяться, что рождение ребенка возвратит ей милости отцовские.

Мать моя страстно желала иметь сына и во все продолжение беременности своей занималась самыми обольстительными мечтами; она говорила: «У меня родится сын, прекрасный как амур! я дам ему имя Модест; сама буду кормить, сама воспитывать, учить, и мой сын, мой милый Модест, будет утехою всей жизни моей...» Так мечтала мать моя; но приближалось время, и муки, предшествовавшие моему рождению, удивили матушку самым неприятным образом; они не имели места в мечтах ее и произвели на нее первое невыгодное для меня впечатление. Надобно было позвать акушера, который нашел нужным пустить кровь; мать моя чрезвычайно испугалась этого, но делать нечего, должно было покориться необходимости. Кровь пустили, и вскоре после этого явилась на свет я, бедное существо, появление которого разрушило все мечты и ниспровергнуло все надежды матери.

«Подайте мне дитя мое!»—сказала мать моя, как только оправилась несколько от боли и страха. Дитя принесли и положили ей на колени. Но увы! это не сын, прекрасный как амур! это дочь, и дочь *богатырь!!* Я была необыкновенной величины, имела густые черные волосы и громко кричала. Мать толкнула меня с коленей и отвернулась к стене.

Через несколько дней маменька выздоровела и, уступая советам полковых дам, своих приятельниц, решилась сама кормить меня. Они говорили ей, что мать, которая кормит грудью свое дите, через это самое начинает любить его. Меня принесли; мать взяла меня из рук женщины, положила к груди и давала мне сосать ее; но видно, я чувствовала, что не любовь материнская дает мне пищу, и потому, несмотря на все усилия заставить меня взять грудь, не брала ее. Маменька думала преодолеть мое упрямство терпением и продолжала держать меня у груди; но наскуча, что я долго не беру, перестала смотреть на меня и начала говорить с бывшею у нее в гостях дамою. В это время я, как видно, управляемая судьбою, назначавшею мне солдатский мундир, схватила вдруг грудь матери и изо всей силы стиснула ее деснами. Мать моя закричала пронзительно, отдернула меня от груди и, бросив в руки женщины, упала лицом в подушки. «Отнесите, отнесите с глаз моих негодного ребенка и никогда не показывайте», — говорила матушка, махая рукою и закрывая себе голову подушкою.

Мне минуло четыре месяца, когда полк, где служил отец мой, получил повеление идти в Херсон; так как это был домашний поход, то батюшка взял семейство с собою. Я была поручена надзору и попечению горничной девки моей матери, одних с нею лет. Днем девка эта сидела с матушкою в карете, держа меня на коленях, кормила из рожка коровьим молоком и пеленала так туго, что лицо у меня синело и глаза наливались кровью; на ночлегах я отдыхала, потому что меня отдавали крестьянке, которую приводили из селения; она распеленывала меня, клала к груди и спала со мною всю ночь, таким образом у меня на каждом переходе была новая кормилица.

Ни от переменных кормилиц, ни от мучительного пеленанья здоровье мое не расстроивалось. Я была очень крепка и бодра, но только до невероятности криклива. В один день мать моя была весьма в дурном нраве; я не дала ей спать всю ночь; в поход вышли на заре, маменька расположилась было заснуть в карете, но я опять начала плакать, и несмотря на все старания няньки утешить меня, я кричала от часу громче; это переполнило меру досады матери моей; она вышла из себя, и, выхва-

тив меня из рук девки, выбросила в окно! Гусары вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей и подняли меня, всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни. Они понесли было меня опять в карету, но батюшка подскакал к ним, взял меня из рук их, и, проливая слезы, положил к себе на седло. Он дрожал, плакал, был бледен как мертвый, ехал не говоря ни слова и не поворачивая головы в ту сторону, где ехала мать моя. К удивлению всех, я возвратилась к жизни и сверх чаяния не была изуродована; только от сильного удара шла у меня кровь из рта и носа. Батюшка с радостным чувством благодарности поднял глаза к небу, прижал меня к груди своей и, приблизясь к карете, сказал матери моей: «Благодари бога, что ты не убийца! Дочь наша жива, но я не отдам уже ее тебе во власть, я сам займусь ею». Сказав это, поехал прочь и до самого ночлега вез меня с собою, не обращая ни взора, ни слов к матери моей.

С этого достопамятного дня жизни моей отец вверил меня промыслу божию и смотрению флангового гусара Астахова, находившегося неотлучно при батюшке как на квартире, так и в походе. Я только ночью была в комнате матери моей, но как только батюшка вставал и уходил, тотчас уносили меня. Воспитатель мой Астахов по целым дням носил меня на руках, ходил со мною в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, и я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали. Вечером он приносил меня к музыкантам, игравшим пред зарею разные штучки; я слушала и наконец засыпала. Только сонную и можно было отнесть меня в горницу; но когда я не спала, то при одном виде материной комнаты я обмирала от страха и с воплем хваталась обеими руками за шею Астахова. Матушка, со времени воздушного путешествия моего из окна кареты, не вступалась уже ни во что до меня касающееся и имела для утешения своего другую дочь, точно уже прекрасную как амур, в которой она, как говорится, души не слышала.

Дед мой, вскоре по рождении моем, простил мать мою и сделал это весьма торжественным образом: он поехал в Киев, просил архиерея разрешить его от необдуманной клятвы не прощать никогда дочь свою и, по-

лучив пастырское разрешение, тогда уже написал к матери моей, что прощает ее, благословляет брак ее и рожденное от него дитя; что просит ее приехать к нему, как для того, чтобы лично принять благословение отца, так и для того, чтобы получить свою часть приданого. Мать моя не имела возможности пользоваться этим приглашением до самого того времени, как батюшке надобно было выйти в отставку; мне было четыре года с половиною, когда отец мой увидел необходимость оставить службу. В квартире его, кроме моей кроватки, были еще две колыбели; походная жизнь с таким семейством делалась невозможною. Он поехал в Москву искать места по статской службе, а мать со мною и еще двумя детьми отправилась к своему отцу, где и должна была жить до возвращения мужа. Взяв меня из рук Астахова, мать моя не могла уже ни одной минуты быть ни покойна, ни весела. Всякий день я сердила ее странными выходками и рыцарским духом своим; я знала твердо все командные слова, любила до безумия лошадей, и когда матушка хотела заставить меня вязать шнурок, то я с плачем просила, чтоб она дала мне пистолет, как я говорила, пощелкать; одним словом, я воспользовалась как нельзя лучше воспитанием, данным мне Астаховым! С каждым днем воинственные наклонности мои усиливались, и с каждым днем более мать не любила меня. Я ничего не забывала из того, чему научилась, находясь беспрестанно с гусарами; бегала и скакала по горнице во всех направлениях, кричала во весь голос: *«Эскадрон! направо, заезжай! с места марш — марш!»* Тетки мои хохотали, а матушка, которую все это приводило в отчаяние, не знала границ своей досаде, брала меня в свою горницу, ставила в угол и бранью и угрозами заставляла горько плакать.

Отец мой получил место городничего в одном из уездных городов и отправился туда со всем своим семейством; мать моя, от всей души меня не любившая, кажется, как нарочно делала все, что могло усилить и утвердить и без того необоримую страсть мою к свободе и военной жизни: она не позволяла мне гулять в саду, не позволяла отлучаться от нее ни на полчаса; я должна была целый день сидеть в ее горнице и плесть кружева; она сама учила меня шить, вязать и, видя,

что я не имею ни охоты, ни способности к этим упражнениям, что все в руках моих и рвется и ломается, она сердилась, выходила из себя и била меня очень больно по рукам.

Мне минуло десять лет. Матушка имела неосторожность говорить при мне отцу моему, что она не имеет сил управиться с воспитанницею Астахова, что это гусарское воспитание пустило глубокие корни, что огонь глаз моих пугает ее и что она желала бы лучше видеть меня мертвою, нежели с такими наклонностями. Батюшка отвечал, что я еще дитя, что не надобно замечать меня и что с летами я получу другие наклонности и все пройдет само собою: «Не приписывай этому ребячеству такой важности, друг мой!» — говорил батюшка. Судьбе угодно было, чтоб мать моя не поверила и не последовала доброму совету мужа своего. Она продолжала держать меня взаперти и не дозволять мне ни одной юношеской радости. Я молчала и покорялась, но угнетение дало зрелость уму моему; я приняла твердое намерение свергнуть тягостное иго и как взрослая начала обдумывать план успеть в этом. Я решилась употребить все способы выучиться ездить верхом, стрелять из ружья и, переодевшись, уйти из дома отцовского. Чтобы начать приводить в действо замышляемый переворот в жизни моей, я не пропускала ни одного удобного случая украсться от надзора матушки. Эти случаи представлялись всякий раз, как к матушке приезжали гости; она занималась ими, а я, я, не помня себя от радости, бежала в сад к своему арсеналу, то есть темному углу за кустарником, где хранились мои стрелы, лук, сабля и изломанное ружье; я забывала целый свет, занимаясь своим оружием, и только пронзительный крик ищущих меня девок заставлял меня с испугом бежать им навстречу. Они отводили меня в горницу, где всегда уже ожидало меня наказание. Таким образом минуло два года, и мне было уже двенадцать лет. В это время батюшка купил для себя верховую лошадь — черкесского жеребца, почти неукротимого. Будучи отличным наездником, отец мой сам выездил это прекрасное животное и назвал его Алкидом. Теперь все мои планы, намерения и желания сосредоточились на этом коне: я решилась употребить все, чтоб приучить его к себе, и успела. Я давала ему хлеб, сахар, соль, брала тихонько

овес у кучера и насыпала в ясли; гладила его, ласкала, говорила с ним, как будто он мог понимать меня, и наконец достигла того, что неприступный конь ходил за мною, как кроткая овечка.

Почти всякий день я вставала на заре, уходила потихоньку из комнаты и бежала в конюшню; Алкид встречал меня ржанием, я давала ему хлеба, сахару и выводила на двор. Потом подводила к крыльцу и со ступеней садилась к нему на спину; быстрые движения его, прыганье, храпенье нисколько не пугали меня: я держалась за гриву и позволяла ему скакать со мною по всему обширному двору, не боясь быть вынесенною за ворота, потому что они были еще заперты. Случилось один раз, что забава эта прервалась приходом конюха, который, вскрикнув от страха и удивления, спешил остановить галопирующего со мною Алкида; но конь закрутил головой, взвился на дыбы и пустился скакать по двору, прыгая и брыкая ногами. К счастию моему, обмерший от страха Ефим потерял употребление голоса, без чего крик его встревожил бы весь дом и навлек бы мне жестокое наказание. Я легко усмирила Алкида, лаская его голосом, трепля и гладя рукою; он пошел шагом, и, когда я обняла шею его и прислонилась к ней лицом, то он тотчас остановился, потому что таким образом я всегда сходила, или, лучше сказать, сползала с него. Теперь Ефим подошел было взять его, бормоча сквозь зубы, что он скажет это матушке, но я обещала отдавать ему все свои карманные деньги, если он никому не скажет и позволит мне самой отвести Алкида в конюшню; при этом обещании лицо Ефима выяснилось, он усмехнулся, погладил бороду и сказал: «Ну извольте, если этот пострел вас более слушается, нежели меня!» Я повела в торжестве Алкида в конюшню, и, к удивлению Ефима, дикий конь шел за мною смирно, и, сгибая шею, наклонял ко мне голову, легонько брал губами мои волосы или за плечо.

С каждым днем я делалась смелее и предприимчивее и, исключая гнева матери моей, ничего в свете не страшилась. Мне казалось весьма странным, что сверстницы мои боялись оставаться одни в темноте; я, напротив, готова была в глубокую полночь идти на кладбище, в лес, в пустой дом, в пещеру, в подземелье. Одним словом, не было места, куда б я не пошла ночью

так же смело, как и днем; хотя мне так же, как и другим детям, были рассказываемы повести о духах, мертвецах, леших, разбойниках и русалках, щекочущих людей насмерть; хотя я от всего сердца верила этому вздору, но нисколько, однако ж, ничего этого не боялась; напротив, я жаждала опасностей, желала бы быть окруженною ими, искала бы их, если б имела хотя малейшую свободу; но неусыпное око матери моей следило каждый шаг, каждое движение мое.

В один день матушка поехала с дамами гулять в густой бор за Каму и взяла меня с собою для того, как она говорила, чтоб я не сломила себе головы, оставшись одна дома. Это было в первый еще раз в жизни моей, что вывезли меня на простор, где я видела и густой лес, и обширные поля, и широкую реку! Я едва не задохлась от радости, и только что мы вошли в лес, как я, не владея собою от восхищения, в ту же минуту убежала и бежала до тех пор, пока голоса компании сделались неслышны; тогда-то радость моя была полная и совершенная: я бегала, прыгала, рвала цветы, взлезала на вершины высоких дерев, чтоб далее увидеть, взлезала на тоненькие березки и, схватясь за верхушку руками, соскакивала вниз, и молодое деревцо легонько ставило меня на землю! Два часа пролетели как две минуты! Между тем меня искали, звали в несколько голосов; я хотя и слышала их, но как расстаться с пленительною свободою! Наконец, уставши чрезвычайно, я возвратилась к обществу. Мне нетрудно было найти их, потому что голоса, меня зовущие, не умолкали. Я нашла мать мою и всех дам в страшном беспокойстве; они вскрикнули от радости, увидев меня, но матушка, угадав по довольному лицу моему, что я не заплуталась, но ушла добровольно, пришла в сильный гнев. Она толкнула меня в спину и назвала проклятою девчонкою, заклявшеюся сердить ее всегда и везде! Мы приехали домой; матушка от самой залы до своей спальни вела и драла меня за ухо; приведши к подушке с кружевом, приказала мне работать, не разгибаясь и не поворачивая никуда головы. «Вот я тебя, негодную, привяжу на веревку и буду кормить одним хлебом!» Сказавши это, она пошла к батюшке рассказать о моем, как она называла, чудовищном поступке, а я осталась перебирать коклюшки, ставить булавки и думать о пре-



красной природе, в первый раз еще виденной мною во всем ее величии и красоте! С этого дня надзор и строгость матери моей хотя и сделались еще неусыпнее, но не могли уже ни устрашить, ни удержать меня.

От утра до вечера сидела я за работою, которой, надобно признаться, ничего в свете не могло быть гаже, потому что я не могла, не умела и не хотела уметь делать ее, как другие, но рвала, портила, путала, и передо мною стоял холстинный шар, на котором тянулась полосою отвратительная путаница—мое кружево, и за ним-то я сидела терпеливо целый день, терпеливо потому, что план мой был уже готов и намерение принято. Как скоро наступала ночь, все в доме утихало, двери запирались, в комнате матушки погашен огонь, я вставала, тихонько одевалась, украдкою выходила через заднее крыльцо и бежала прямо в конюшню; там брала я Алкида, проводила его через сад на скотный двор и здесь уже садилась на него и выезжала через узкий переулок прямо к берегу и к Старцовой горе; тут я опять вставала с лошади и взводила ее на гору за недоуздок в руках, потому что, не умея надеть узды на Алкида, я не могла бы заставить его добровольно взойти на гору, которая в этом месте имела утесистую крутизну; и так я взводила его за недоуздок в руках и, когда была на ровном месте, отыскивала пень или бугор, с которого опять садилась на спину Алкида, и до тех пор хлопала рукою по шее и щелкала языком, пока добрый конь пускался в галоп, вскачь и даже в карьер. При первом признаке зари я возвращалась домой, ставила лошадь в конюшню и, не раздеваясь, ложилась спать, через что и открылись наконец мои ночные прогулки. Девка, имевшая за мною смотренье, находя меня всякое утро в постели совсем одетую, сказала об этом матери, которая и взяла на себя труд посмотреть, каким образом и для чего это делается; мать моя сама видела, как я вышла в полночь совсем одетая и, к неизъяснимому ужасу ее, вывела из конюшни злого жеребца! Она не смела остановить меня, считая лунатиком, не смела кричать, чтобы не испугать меня, но приказав дворецкому и Ефиму смотреть за мною, пошла сама к батюшке, разбудила его и рассказала все происшествие; отец удивился и поспешно встал, чтоб идти увидеть своими глазами эту необычайность. Но все уже кончилось ско-

рее, нежели ожидали: меня и Алкида вели в триумфе обратно каждого на свое место. Дворецкий, которому матушка приказала идти за мною, видя, что я хочу садиться на лошадь, и не считая меня, как считала матушка, лунатиком, вышел из засады и спросил: «Куда вы, барышня?»

После этого происшествия мать моя хотела непременно, чего бы то ни стоило, избавиться моего присутствия и для того решилась отвезти меня в Малороссию к бабке, старой Александровичевой. Мне наступал уже четырнадцатый год, я была высока ростом, тонка и стройна; но воинственный дух мой рисовался в чертах лица, и хотя я имела белую кожу, живой румянец, блестящие глаза и черные брови, но зеркало мое и матушка говорили мне всякий день, что я совсем нехороша собою. Лицо мое было испорчено оспою, черты неправильны, а беспрестанное угнетение свободы и строгость обращения матери, а иногда и жестокость напечатлели на физиономии моей выражение страха и печали. Может быть, я забыла бы наконец все свои гусарские замашки и сделалась обыкновенною девицею, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве, что вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетение есть ее доля от колыбели до могилы; что она исполнена слабостей, лишена всех совершенств и не способна ни к чему; что, одним словом, женщина самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение в свете! Голова моя шла кругом от этого описания; я решилась, хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием божиим. Отец тоже говорил часто: «Если б вместо Надежды был у меня сын, я не думал бы, что́ будет со мною под старость; он был бы мне подпорою при вечере дней моих». Я едва не плакала при этих словах отца, которого чрезвычайно любила. Два чувства, столь противоположные — любовь к отцу и отвращение к своему полу волновали юную душу мою с одинакою силою, и я с твердостию и постоянством, мало свойственными возрасту моему, занялась обдумыванием

плана выйти из сферы, назначенной природою и обычаями женскому полу.

При таком-то расположении ума и воли моей, в начале четырнадцатого года моего от рождения, отвезла меня мать моя в Малороссию к бабке и оставила у нее. Деда не было уже на свете. Всю нашу семью составляли бабка моя, восьмидесятилетняя, умная и благочестивая женщина; она была некогда красавица и известна по необычайной кротости нрава; сын ее, а мой дядя, средних лет человек, пригожий, добрый, чувствительный и до несносности капризный, был женат на девице редкой красоты из фамилии Лизогубов, живущих в Чернигове; и, наконец, тетка лет сорока пяти, девица. Я более всех любила молодую и прекрасную жену дяди, но никогда, однако ж, не оставалась охотно в сообществе моих родных: они были так важны, так набожны, такие непримиримые враги воинственных наклонностей в девице, что я боялась думать в их присутствии о своих любимых намерениях. Хотя свободы моей не стесняли ни в чем, хотя я могла с утра до вечера гулять где хочу, не опасаясь быть браненою, но если б я осмелилась намекнуть только о верховой езде, то думаю, меня осудили бы на церковное покаяние. Так нелицемерен был ужас родных моих при одной мысли об этих противозаконных и противоестественных, по их мнению, упражнениях женщин, а особливо девиц!

Под ясным небом Малороссии я приметно поздоровела, хотя в то же время загорела, почернела и подурнела еще более. Здесь меня не шнуровали и не морили за кружевом. Любя страстно природу и свободу, я все дни проводила или бегая по лесным дачам дядиного поместья, или плавая по Удаю в большой ладье, называемой в Малороссии «дуб». Может быть, этой последней забавы не позволили б мне, если б знали об ней; но я имела предосторожность пускаться в навигацию после обеда, когда зоркие глаза молодой тетки закрывались для сна. Дядя уходил заниматься хозяйством или читал газеты, которые тетушка-девица слушала с большим участием; оставалась только бабушка, которая могла бы увидеть меня, но она имела уже слабое зрение, и я в совершенной безопасности разъезжала прямо перед ее окнами.

Весною приехала к нам еще одна тетка моя, Значко-Яворская, живущая близ города Лубен; она полюбила

меня и выпросила у бабушки позволения взять меня к себе на все лето.

Здесь и занятия мои и удовольствия были совсем другие. Тетка была строгая женщина, наблюдавшая неослабный порядок и приличие во всем; она жила открыто, была знакома с лучшим обществом из окружных помещиков, имела хорошего повара и часто делала балы; я увидела себя в другой сфере. Не слыша никогда брани и укоризн женскому полу, я мирилась несколько с его участию, особливо видя вежливое внимание и угождения мужчин. Тетка одевала меня очень хорошо и старалась свесть загар с лица моего; воинские мечты мои начинали понемногу изглаживаться в уме моем; назначение женщин не казалось уже мне так страшным, и мне, наконец, понравился новый род жизни моей. К довершению успокоения бурных помыслов моих, дали мне подругу: у тетушки жила другая племянница ее, Остроградская, годом моложе меня. Мы обе были неразлучны; утро проводили в комнате у тетки нашей, читая, рисуя или играя, после обеда до самого чаю мы были свободны гулять и тотчас уходили в леваду (так называется часть земли, обыкновенно примыкающая к саду и отделяемая от него одним только рвом); я перескакивала его с легкостью дикой козы, сестра следовала моему примеру, и мы в продолжение урочного времени нашей прогулки облетали все соседние левады во всем их пространстве.

Тетка моя, как и все малороссиянки, была очень набожна, строго наблюдала и исполняла все обряды, предписываемые религиею. Всякий праздник ездила к обедне, вечерне и заутрене; я и сестра должны были делать то же. Сначала мне очень не хотелось вставать до свету, чтоб идти в церковь, но в соседстве у нас жила помещица Кириякова с сыном и также всегда приезжала в церковь. В ожидании начатия службы Кириякова разговаривала с теткою, а сын ее, молодой человек лет двадцати пяти, подходил к нам или, лучше сказать, ко мне, потому что он говорил только со мною. Он был очень не дурен собою, имел прекрасные черные глаза, волосы и брови и юношескую свежесть лица; я очень полюбила божественную службу и к заутрене вставала всегда уже прежде тетушки. Наконец, разговоры мои с молодым Кирияковым обратили на себя внимание тетки моей. Она стала замечать, расспрашивать сестру, которая тотчас и ска-

зала, что Кирияк брал мою руку и просил меня отдать ему кольцо, говоря, что тогда сочтет себя уполномоченным говорить с тетушкою. Получа такое объяснение от сестры моей, тетка призвала меня к себе: «Что говорит с тобою сын нашей соседки всякий раз, когда мы бываем вместе?» Не умея вовсе притворяться, я рассказала тотчас все, что было мне говорено. Тетушка покачала головою, ей это очень не нравилось. «Нет, — говорила она, — не так ищут руки девицы! К чему объясняться с тобою! Надобно было прямо отнестись к твоим родственникам!» После этого меня отвезли обратно к бабке; я долго скучала о молодом Кирияке. Это была первая склонность, и думаю, что если б тогда отдали меня за него, то я навсегда простилась бы с воинственными замыслами; но судьба, предназначавшая мне поприщем ратное поле, распорядилась иначе. Старая Кириякова просила тетку мою осведомиться, имею ли я какое приданое, и узнавши, что оно состоит из нескольких аршин лент, полотна и кисеи, а более ничего, запретила сыну своему думать обо мне.

Мне наступил пятнадцатый год, как в один день принесли дяде моему письмо, повергшее всех в печаль и недоумение. Письмо было от батюшки; он писал к матери моей, умоляя ее простить ему, возвратиться и давал клятву все оставить. Никто ничего не мог понять из этого письма. Где мать моя? Почему письмо к ней адресовано в Малороссию? Разошлась ли она с мужем, и по какой причине? Дядя и бабка мои терялись в догадках.

Недели через две после этого письма я каталась в лодке по Удаю и вдруг услышала визгливый голос бабушкиной горничной девки: «Панночко, панночко! идыть до бабусци!» Я испугалась, услыша призыв к бабушке, повернула лодку и мысленно прощалась с своим любезным «дубом», полагая, что теперь велят его приковать цепью к свае, и прогулки мои по реке навсегда кончились. — Как это случилось, что бабушка увидела? — спрашивала я, приставая к берегу. — Бабушка не видала, — отвечала Агафья, — но за вами приехал Степан; матушка ваша прислала. — Матушка! за мною! возможно ли! Ах, прекрасный край, неужели я должна буду оставить тебя!.. Я шла поспешно домой; там увидела старого слугу нашего, бывшего во всех походах с отцом моим. Седой Степан почтительно подал мне письмо. Отец пи-

сал, что он и мать моя желают, чтоб я немедленно приехала к ним, что им скучно жить розно со мною. Это было непонятно для меня; я знала, что мать не любила меня, итак, это батюшка хочет, чтоб я была при нем; но как же согласилась мать моя! Сколько я ни думала и сколько ни сожалела о необходимости оставить Малороссию, о стеснении свободы меня ожидающем, о неприятном размене прекрасного климата на холодный и суровый, но должна была повиноваться. В два дня все приготовили, напекли, нажарили, лакомств дали огромный короб и все уложили. На третий почтенная бабка моя прижала меня к груди своей и, целуя, сказала: «Поезжай, дитя мое! да благословит тебя господь в пути твоем! да благословит он тебя и в пути жизни твоей!» Она положила руку свою мне на голову и тихо призывала на меня покровительства божия. Молитва праведницы была услышана: во все продолжение воинственной, бурной жизни я испытывала во многих случаях видимое заступление всевышнего.

Нечего описывать путешествия моего под надзором старого Степана и в товариществе двенадцатилетней Анцушки, его дочери; оно началось и кончилось, как начинаются и оканчиваются подобные вояжи: ехали на протяжных тихо, долго и наконец приехали. Отворяя дверь в зал отцовского дома, я услышала, как маленькая сестра моя Клеопатра говорила: «Подите, маменька, какая-то барышня приехала!» Сверх ожидания, матушка приняла меня ласково; ей приятно было видеть, что я получила тот скромный и постоянный вид, столько приличествующий молодой девице. Хотя в полтора года я много выросла и была почти головою выше матери, но не имела уже ни того воинственного вида, делавшего меня похожею на Ахиллеса в женском платье, ни тех гусарских приемов, приводивших мать мою в отчаяние.

Прожив несколько дней дома, я узнала причину, заставившую прислать за мною. Отец мой, всегда неравнодушный к красоте, изменил матери моей в ее отсутствие и взял на содержание прекрасную девочку, дочь одного мещанина; по возвращении матушка долго еще ничего не знала, но одна из ее знакомых думала услужить ей, объявив гибельную тайну, и отравила жизнь ее ядом, жесточайшим из всех — ревностию! Несчастная мать моя помертвела, слушая рассказ безумно услужливой

приятельницы и, выслушав, ушла от нее, не говоря ни слова, и легла в постель; когда батюшка пришел домой, она хотела было говорить ему кротко и спокойно, но в ее ли воле было сделать это! С первых слов терзание сердца превозмогло все; рыдания пресекли ее голос; она била себя в грудь, ломала руки, кляла день рождения и ту минуту, в которую узнала любовь; просила отца моего убить ее и тем избавить от нестерпимого мучения жить, быв им пренебреженною. Батюшка ужаснулся состояния, в котором видел мать мою; он старался успокоить ее, просил не верить вздорным рассказам, но видя, что она была слишком хорошо уведомлена обо всем, клялся богом и совестию оставить преступную связь; матушка поверила, успокоилась и простила. Батюшка несколько времени держал свое слово, оставил любовницу и даже отдал ее замуж, но после взял опять, и тогда-то мать моя, в отчаянии, решилась было навсегда расстаться с неверным мужем и поехала к своей матери в Малороссию, но в Казани остановилась. Батюшка, не зная этого, написал в Малороссию, убеждая мать мою простить ему и возвратиться, но в то же время и сам получил письмо от матери моей. Она писала, что не имеет силы удалиться от него, не может перенесть мысли расстаться навек с мужем, хотя жестоко ее обидевшим, но и безмерно ею любимым! Умоляла его одуматься и возвратиться к своим обязанностям. Батюшка был тронут, раскаялся и просил матушку возвратиться. Тогда-то она послала за мною, полагая, что присутствие любимой дочери заставит его забыть совершенно недостойный предмет своей привязанности. Несчастная! Ей суждено было обмануться во всех своих ожиданиях и испить чашу горести до дна! Батюшка переходил от одной привязанности к другой и никогда уже не возвращался к матери моей. Она томилась, увядала, сделалась больна, поехала лечиться в Пермь к славному Гралю и умерла на тридцать пятом году от рождения, более жертвою несчастия, нежели болезни!.. Увы! бесполезно орошаю теперь слезами строки эти. Горе мне, бывшей первоначальною причиною бедствий матери моей! Мое рождение, пол, черты, наклонности — все было не то, чего хотела мать моя. Существование мое отравляло жизнь ее, а беспрерывная досада испортила ее нрав, и без того от природы вспыльчивый, и сделала его жестоким; тогда уже и необыкновенная

красота не спасла ее; отец перестал ее любить, и безвременная могила была концом любви, ненависти, страданий и несчастий.

Матушка, не находя уже удовольствия в обществе, вела затворническую жизнь. Пользуясь этим обстоятельством, я выпросила у отца позволение ездить верхом; батюшка приказал сшить для меня казачий чекмень и подарил своего Алкида. С этого времени я была всегдашним товарищем отца моего в его прогулках за город; он находил удовольствие учить меня красиво сидеть, крепко держаться в седле и ловко управлять лошадью. Я была понятная ученица; батюшка любовался моею легкостью и бесстрашием; он говорил, что я живой образ юных лет его и что была бы подпорою старости и честию имени его, если б родилась мальчиком! Голова моя вскружилась, но теперешнее кружение было уже прочно. Я была не дитя: мне минуло шестнадцать лет! Обольстительные удовольствия света, жизнь в Малороссии и черные глаза Кирияка, как сон, изгладились в памяти моей; но детство, проведенное в лагере между гусарами, живыми красками рисовалось в воображении моем. Все воскресло в душе моей. Я не понимала, как могла не думать о плане своем почти два года. Мать моя, угнетенная горестию, теперь еще более ужасными красками описывала участь женщин. Воинственный жар с неимоверною силою запылал в душе моей, мечты зароились в уме, и я деятельно зачала изыскивать способы произвесть в действие прежнее намерение свое — сделаться воином, быть сыном для отца своего и навсегда отделиться от пола, которого участь и вечная зависимость начали страшить меня.

Матушка не ездила еще в Пермь лечиться, когда в город наш пришел полк казаков... Батюшка часто приглашал к себе обедать их полковника и офицеров, ездил с ними прогуливаться за город верхом, но я имела предусмотрительность никогда не быть участницею этих прогулок. Мне нужно было, чтобы они никогда не видали меня в чекмене и не имели понятия о виде моем в мужском платье. Луч света озарил ум мой, когда казаки вступили в город! Теперь я видела верный способ исполнить так давно предпринятый план, видела возможность, дождавшись выступления казаков, дойти с ними до места, где стоят регулярные полки.

Наконец, настало решительное время действовать по предначертанному плану. Казаки получили повеление выступить; они вышли 15-го сентября 1806 года; в пятидесяти верстах от города должна была быть у них дневка. Семнадцатого был день моих именин и день, в который судьбою ли, стечением ли обстоятельств, или непреодолимою наклонностию, но только определено было мне оставить дом отцовский и начать совсем новый род жизни. В день семнадцатого сентября я проснулась до зари и села у окна дожидаться ее появления: может быть, это будет последняя, которую я увижу в стране родной! Что ждет меня в бурном свете! Не понесется ли вслед за мною проклятие матери и горесть отца? Будут ли они живы? Дождутся ли успехов гигантского замысла моего? Ужасно, если смерть их отнимет у меня цель действий моих! Мысли эти то толпились в голове моей, то сменяли одна другую. Сердце мое стеснилось, и слезы заблистали на ресницах. В это время занялась заря, скоро разлилась алым заревом, и прекрасный свет ее, пролившись в мою комнату, осветил предметы: отцовская сабля, висевшая на стене прямо против окна, казалась горящею. Чувства мои оживились. Я сняла саблю со стены, вынула ее из ножен и, смотря на нее, погрузилась в мысли; сабля эта была игрушкою моею, когда я была еще в пеленках, утехою и упражнением в отроческие лета, и почему же теперь не была бы она защитою и славою моею на военном поприще? — Я буду носить тебя с честию,— сказала я, поцеловав клинок и вкладывая ее в ножны. Солнце взошло. В этот день матушка подарила мне золотую цепь, батюшка триста рублей и гусарское седло с алым вальтрапом; даже маленький брат отдал мне золотые часы свои. Принимая подарки родителей моих, я с грустию думала, что им и в мысль не приходит, что они снаряжают меня в дорогу дальнюю и опасную.

День этот я провела с моими подругами. В одиннадцать часов вечера я пришла проститься с матушкою, как то делала обыкновенно, когда шла уже спать. Не имея сил удержать чувств своих, я поцеловала несколько раз ее руки и прижала их к сердцу, чего прежде не делала и не смела делать. Хотя матушка и не любила меня, однако ж была тронута необыкновенными излияниями детской ласки и покорности; она сказала, целуя меня в голо-

ву: *«По́ди с бо́гом!»* Слова эти весьма много значили для меня, никогда еще не слыхавшей ни одного ласкового слова от матери своей. Я приняла их за благословение, поцеловала впоследнее руку ее и ушла.

Комнаты мои были в саду. Я занимала нижний этаж садового домика, а батюшка жил вверху. Он имел обыкновение заходить ко мне всякий вечер на полчаса. Он любил слушать, когда я рассказывала ему, где была, что делала или читала. Ожидая и теперь обычного посещения отца моего, положила я на постель за занавес мое казацкое платье, поставила у печки кресла и стала подле них дожидаться, когда батюшка пойдет в свои комнаты. Скоро я услышала шелест листьев от походки человека, идущего по аллее. Сердце мое вспрыгнуло. Дверь отворилась, и батюшка вошел. «Что ты так бледна? — спросил он, садясь на кресла, — здорова ли?». Я с усилием удержала вздох, готовый разорвать грудь мою; последний раз отец мой входит в комнату ко мне с уверенностию найти в ней дочь свою. Завтра он пройдет мимо с горестью и содроганием. Могильная пустота и молчание будут в ней! Батюшка смотрел на меня пристально: «Что с тобою? Ты, верно, нездорова?» Я сказала, что только устала и озябла. — «Что же не велишь протапливать свою горницу? Становится сыро и холодно». Помолчав несколько, батюшка спросил: «Для чего ты не прикажешь Ефиму выгонять Алкида на корде? К нему приступа нет; ты сама давно уже не ездишь на нем; другому никому не позволяешь. Он так застоялся, что даже в стойле скачет на дыбы, непременно надобно проездить его». Я сказала, что прикажу сделать это, и опять замолчала. — «Ты что-то грустна, друг мой. Прощай, ложись спать», — сказал батюшка, вставая и целуя меня в лоб. Он обнял меня одною рукою и прижал к груди своей; я поцеловала обе руки его, стараясь удержать слезы, готовые градом покатиться из глаз. Трепет всего тела изменил сердечному чувству моему. Увы! батюшка приписал его холоду. «Видишь, как ты озябла», — сказал он. Я еще раз поцеловала его руки. «Добрая дочь!» — примолвил батюшка, потрепав меня по щеке, и вышел. Я стала на колени близ тех кресел, на которых сидел он, и, склонясь перед ними до земли, целовала, орошая слезами, то место пола, где стояла нога его. Через полчаса, когда печаль моя несколько утихла, я встала, чтоб ски-

нуть свое женское платье; подошла к зеркалу, обрезала свои локоны, положила их в стол, сняла черный атласный капот и начала одеваться в казачий униформ. Стянув стан свой черным шелковым кушаком и надев высокую шапку с пунцовым верхом, с четверть часа я рассматривала преобразившийся вид свой; остриженные волосы дали мне совсем другую физиономию; я была уверена, что никому и в голову не придет подозревать пол мой. Сильный шелест листьев и храпенье лошади дали знать мне, что Ефим ведет Алкида на задний двор. Я впоследнее простерла руки к изображению богоматери, столько лет принимавшему мольбы мои, и вышла. Наконец, дверь отцовского дома затворилась за мною,— и кто знает? — может быть, никогда уже более не отворится для меня!..

Приказав Ефиму идти с Алкидом прямою дорогою на Старцову гору и под лесом дожидаться меня, я сбежала поспешно на берег Камы, сбросила тут капот свой и положила его на песок со всеми принадлежностями женского одеянья; я не имела варварского намерения заставить отца думать, что я утонула, и была уверена, что он не подумает этого; я хотела только дать ему возможность отвечать без замешательства на затруднительные вопросы наших недальновидных знакомых. Оставив платье на берегу, я взошла прямо на гору по тропинке, проложенной козами; ночь была холодная и светлая; месяц светил во всей полноте своей. Я остановилась взглянуть еще раз на прекрасный и величественный вид, открывающийся с горы: за Камою, на необозримое пространство видны были Пермская и Оренбургская губернии. Темные, обширные леса и зеркальные озера рисовались, как на картине. Город у подошвы утесистой горы дремал в полуночной тишине; лучи месяца играли и отражались на позолоченных главах собора и светили на кровлю дома, где я выросла... Что мыслит теперь отец мой? Говорит ли ему сердце его, что завтра любимая дочь его не придет уже пожелать ему доброго утра?

В молчании ночном ясно доходили до слуха моего крик Ефима и сильное храпенье Алкида. Я побежала к ним, и в самую пору: Ефим дрожал от холода, бранил Алкида, с которым не мог сладить, и меня за медленность. Я взяла мою лошадь у него из рук, села на нее, отдала ему обещанные пятьдесят рублей, попросила,

чтоб не сказывал ничего батюшке, и, отпустив Алкиду повода, вмиг исчезла у изумленного Ефима из виду.

Версты четыре Алкид скакал с одинакою быстротою; но мне в эту ночь надобно было проехать пятьдесят верст до селения, где я знала, что была назначена дневка казачьему полку. И так, удержав быстрый скок моего коня, я поехала шагом; скоро въехала в темный сосновый лес, простирающийся верст на тридцать. Желая сберечь силы моего Алкида, я продолжала ехать шагом и, окруженная мертвою тишиною леса и мраком осенней ночи, погрузилась в размышления: «Итак, я на воле! Свободна! Независима! Я взяла мне принадлежащее, мою свободу; свободу! Драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку! Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на будущее время, и отныне до могилы она будет и уделом моим и наградою!»

Тучи закрыли все небо; в лесу сделалось темно, так что я на три сажени перед собою не могла ничего видеть, и наконец поднявшийся с севера холодный ветер заставил меня ехать скорее. Алкид мой пустился большой рысью, и на рассвете я приехала в селение, где дневал полк казаков.

Записки

Полковник и его офицеры давно уже проснулись и собрались все в полковничью квартиру завтракать; в это время я вошла к ним. Они шумно разговаривали между собою, но увидя меня, вдруг замолчали. Полковник, с видом изумления, подошел ко мне: «Которой ты сотни?» — спросил он поспешно. Я отвечала, что не имею еще чести быть в которой-нибудь из них, но приехал просить его об этой милости. Полковник слушал меня с удивлением: «Я не понимаю тебя. Разве ты нигде не числишься?»

— Нигде.

— Почему?

— Не имею права.

— Как! что это значит? Казак не имеет права быть причислен к полку казачьему! Что это за вздор!

Я сказала, что я не казак.

— Ну, кто же ты, — спросил полковник, начинавший выходить из терпения, — зачем в казачьем мундире и чего ты хочешь?

— Я уже сказал вам, полковник, что желаю иметь честь быть причислен к вашему полку, хотя только на то время, пока дойдем до регулярных войск.

— Но все-таки я должен знать, кто ты таков, молодой человек, и сверх того, разве тебе неизвестно, что у нас никому нельзя служить, кроме природных казаков?

— Я и не имею этого намерения, но прошу у вас только позволения дойти до регулярных войск в звании

и одеянии казака, при вас или при полку вашем; что ж до вопроса вашего, кто я таков, скажу только то, что могу сказать: я дворянин, оставил дом отцовский и иду в военную службу без ведома и воли моих родителей; я не могу быть счастлив ни в каком другом звании, кроме военного, потому и решился в этом случае поступить по своему произволу; если вы не примете меня под свое покровительство, я найду средство и один присоединиться к армии.

Полковник с участием смотрел на меня, пока я говорила.

— Что мне делать? — сказал он вполголоса, оборотясь к одному седому есаулу. — Я не имею духа отказать ему!

— На что же и отказывать, — отвечал равнодушно есаул, — пусть едет с нами.

— Не нажить бы нам хлопот.

— Каких же? Напротив, и отец, и мать его будут вам благодарны впоследствии за то, что вы дадите ему приют; с его решимостию и неопытностию он попадет в беду, если вы его отошлете.

В продолжение этого короткого переговора полковника с есаулом я стояла, опершись на свою саблю, с твердым намерением, получа отказ, сесть на своего питомца гор и ехать одной к предположенной цели.

— Ну хорошо, молодой человек, — сказал полковник, оборотясь ко мне, — ступай с нами; но упреждаю тебя, что мы идем теперь на Дон, а там регулярных войск нет. Щегров! дай ему лошадь из заводных!

Высокого роста казак, вестовой полковника, пошел было исполнить приказание. Но я, спеша пользоваться возможностью играть роль подчиненного воина, сказала: «У меня есть лошадь, ваше высокоблагородие! Я буду ехать на ней, если позволите». Полковник рассмеялся: «Тем лучше, тем лучше! Поезжай на своей лошади. Как же твое имя, молодец?» Я сказала, что меня зовут Александром.

— А по отчеству?

— Васильем звали отца моего.

— Итак, Александр Васильевич, на походе ты будешь ехать всегда при первой сотне, обедать у меня и квартировать. Иди теперь к полку, мы сейчас выступаем. Дежурный, вели садиться на коней.

Вне себя от радости побежала я к своему Алкиду и как птица взлетела на седло. Бодрая лошадь, казалось, понимала мое восхищение; она шла гордо, сгибая шею кольцом и быстро водя ушами. Казацкие офицеры любовались красотою Алкида моего и вместе хвалили и меня; они говорили, что я хорошо сижу на лошади и что у меня прекрасная черкесская талия. Я начинала уже краснеть и приходить в замешательство от любопытных взоров, со всех сторон на меня устремленных, но такое положение не могло быть продолжительно. Я скоро оправилась и отвечала на расспросы учтиво, правдоподобно, голосом твердым, покойным и казалась вовсе не замечающею всеобщего любопытства и толков, возбужденных появлением моим среди войска Донского.

Наконец, казаки, наговорясь и насмотревшись на коня моего и на меня, стали по местам. Полковник вышел, сел на черкесского коня своего, скомандовал «справа по три», и полк двинулся вперед. Переднее отделение, нарочно составленное из людей, имеющих хороший голос, запело *«Душа добрый конь»*, любимую казацкую песню. Меланхолический напев ее погрузил меня в задумчивость: давно ли я была дома? В одежде пола своего, окруженная подругами, любимая отцом, уважаемая всеми, как дочь градоначальника! Теперь я казак, в мундире, с саблею; тяжелая пика утомляет руку мою, не пришедшую еще в полную силу. Вместо подруг меня окружают казаки, которых наречие, шутки, грубый голос и хохот трогают меня. Чувство, похожее на желание плакать, стеснило грудь мою. Я наклонилась на крутую шею коня своего, обняла ее и прижалась к ней лицом... Лошадь эта была подарок отца. Она одна оставалась мне воспоминанием дней, проведенных в доме его. Наконец, борьба чувств утихла, я опять села прямо и, занявшись рассматриванием грустного осеннего ландшафта, поклялась в душе никогда не позволять воспоминаниям ослаблять дух мой, но с твердостию и постоянством идти по пути, мною добровольно избранном.

Поход продолжался более месяца. Новое положение мое восхищало меня; я научилась седлать и расседлывать свою лошадь, сама водила ее на водопой, так же как и другие. Походом казацкие офицеры часто скакались на лошадях и предлагали и мне испытать быстроту моего Алкида против их лошадей; но я слишком люблю

его, чтоб могла согласиться на это. К тому же, мой добрый конь не в первом цвете молодости, ему уже девять лет; и хотя я уверена, что в целом казачьем полку нет ни одной лошади, равной моему Алкиду в быстроте, точно так же, как и в красоте, но все-таки не имею бесчеловечного тщеславия мучить своего товарища от пустого удовольствия взять верх над тощими скакунами Дона. Наконец, полк пришел на рубеж своей земли и расположился лагерем в ожидании смотра, после которого их распускают по домам. Ожидание и смотр продолжались три дня; я в это время ходила с ружьем по необозримой степи донской или ездила верхом. По окончании смотра казаки пустились во все стороны группами; это был живописный вид: несколько сот казаков, рассыпавшись по обширной степи, ехали от места смотра во всех направлениях. Картина эта припомнила мне рассыпное бегство муравьев, когда мне случалось выстрелить холостым зарядом из пистолета в их кучу.

Щегров позвал меня к полковнику: «Ну вот, молодой человек, нашему странствию конец! А вашему? Что вы намерены делать?»

— Ехать к армии, — смело отвечала я.

— Вы, конечно, знаете, где она расположена? Знаете дорогу, по которой ехать, и имеете к этому средства? — спросил полковник, усмехаясь.

Ирония эта заставила меня покраснеть.

— О месте и дороге я буду спрашивать, полковник, что ж касается до средств, у меня есть деньги и лошадь.

— Ваши средства хороши только за неимением лучших; мне жаль вас, Александр Васильевич! Из поступков ваших, более, нежели из слов, уверился я в благородном происхождении вашем; не знаю причин, заставивших вас в такой ранней юности оставить дом отцовский, но если это точно желание войти в военную службу, то одна только ваша неопытность могла закрыть от вас те бесчисленные затруднения, которые вам надобно преодолеть прежде достижения цели. Подумайте об этом.

Полковник замолчал, я также молчала, и что могла я сказать! Меня стращают затруднениями! Советуют подумать... Может быть, хорошо было бы услышать это дома, но, удалясь от него две тысячи верст, надобно продолжать, и какие б ни были затруднения, твердою во-

лею победить их. Так думала я и все еще молчала. Полковник начал опять: «Вижу, что вы не хотите говорить со мною откровенно; может быть, вы имеете на это свои причины, но я не имею духа отпустить вас на верную гибель. Послушайтесь меня, останьтесь пока у меня на Дону. Покровительство опытного человека для вас необходимо; я предлагаю вам до времени дом мой, живите в нем до нового выступления нашего в поход. Вам не будет скучно, у меня есть семейство; климат наш, как видите, очень тепел, снегу не бывает до декабря, можете прогуливаться верхом сколько угодно; конюшня моя к вашим услугам. Теперь мы поедем ко мне в дом, я отдам вас на руки жене моей, а сам отправлюсь в Черкасск к Платову; там пробуду до нового похода, который не замедлится; тогда и вы дойдете вместе с нами до регулярных войск. Согласны ли вы последовать моему совету?» Я сказала, что принимаю предложение его с искренней благодарностью. Надобно было не иметь ума, чтоб не видеть, как выгодно для меня будет дойти до регулярного войска, не обращая на себя внимания и не возбуждая ни в ком подозрения.

Полковник и я сели в коляску и отправились в Раздорскую станицу, где был у него дом. Жена его чрезвычайно обрадовалась приезду мужа; это была женщина средних лет, прекрасная собою, высокого роста, полная, с черными глазами, бровями и волосами и смугловатым цветом лица, общим всему казачьему племени; свежие губы ее приятно улыбались всякой раз, когда она говорила. Меня очень полюбила она и обласкала, дивилась, что в такой чрезвычайной молодости отпустили меня родители мои скитаться, как она говорила, по свету. «Вам, верно, не более четырнадцати лет, и вы уже одни на чужой стороне. Сыну моему восемнадцать, и я только с отцом отпускаю его в чужие земли, но одному! Ах, боже! Чего не могло б случиться с таким птенцом! Поживите у нас, вы хоть немного подрастете, возмужаете, и когда наши казаки опять пойдут в поход, вы пойдете с ними, и муж мой будет вам вместо отца». Говоря это, добрая полковница уставливала стол разными лакомствами — медом, виноградом, сливками и сладким, только что выжатым, вином.

— Пейте, молодой человек, — говорила доброхотная хозяйка, — чего вы боитесь? Это и мы, бабы, пьем

стаканами, трехлетние дети у нас пьют его, как воду.

Я до этого времени не знала еще вкуса вина и потому с большим удовольствием пила донской нектар. Хозяйка смотрела на меня, не сводя глаз: «Как мало походите вы на казака! Вы так белы, так тонки, так стройны, как девица! Женщины мои так и думают, они говорили уже мне, что вы переодетая девушка!» Говоря таким образом, полковница хохотала простодушно, вовсе не подозревая, как хорошо отгадали ее женщины и какое замирание сердца причиняют слова ее молодому гостю, так усердно ею угощаемому. С этого дня я не находила уже никакого удовольствия оставаться в семействе полковника, но с утра до вечера ходила по полям и виноградникам. Охотно уехала бы я в Черкасск, но боялась новых расспросов. Я очень видела, что казачий мундир худо скрывает разительное отличие мое от природных казаков; у них какая-то своя физиономия у всех, и потому вид мой, приемы и самый способ изъясняться были предметом их любопытства и толкования; к тому же, видя себя беспрестанно замечаемою, я стала часто приходить в замешательство, краснеть, избегать разговоров и уходить в поле на целый день, даже и в дурную погоду. Полковника давно уже не было дома, он жил по делам службы в Черкасске. Единообразная и бездейственная жизнь сделалась мне несносна, я решилась уехать и отыскивать армию, хотя сердце мое трепетало при мысли, что те же расспросы, то же любопытство ожидают меня везде; но по крайности, думала я, это будет некоторым образом мимоходом, а не так, как здесь я служу постоянным предметом замечаний и толкованья.

Решась ехать завтра на рассвете, я пришла домой засветло, чтобы уведомить хозяйку о своем отъезде и приготовить лошадь и сбрую. Входя на двор, я увидела необыкновенную суетливость и беготню людей полковника, увидела множество экипажей и верховых лошадей. Я вошла в залу, и первою встречею был возвратившийся полковник. Толпа офицеров окружала его, но между ними не было, однако ж, ни одного из тех, с которыми я пришла на Дон. «Здравствуйте, Александр Васильевич! — сказал полковник, отвечая на поклон мой. — Не соскучились вы у нас? Господа, рекомендую,

это русский дворянин, он будет спутником нашим до места». Офицеры слегка поклонились мне и продолжали разговаривать о своем походе. — «Ну как же вы проводили ваше время, Александр Васильевич? Полюбился ли вам Дон и не полюбилось ли что на Дону?» Говоря это, полковник лукаво усмехался. Поняв смысл последнего вопроса, я покраснела, но отвечала вежливо и сообразно шутке, что старался не прилепляться слишком к прекрасной стороне их, чтоб не заплатить за это поздним сожалением. «Вы очень хорошо сделали, — сказал полковник, — потому что завтра чуть свет и мы и вы должны сказать прости нашему тихому Дону! Мне вверен Атаманский полк, и мы имеем повеление идти в Гродненскую губернию; вот там вы будете иметь случай вступить в какой угодно регулярный полк, их там много».

В три часа утра я оседлала своего Алкида и привела его к строю казаков. Но, как полковника тут еще не было, то я, привязав свою лошадь, пошла в ту залу, где собрались все офицеры. Множество молодых казачек пришли проводить своих мужей; я была свидетельницею трогательного зрелища. Щегров, бывший всегда при полковнике в походе, был с ним же и на Дону; его отец, мать, жена и три взрослые и прекрасные дочери пришли проводить его и еще раз проститься с ним. Умилительно было видеть, как сорокалетний казак, склоняясь до земли, целовал ноги своего отца и матери, принимая их благословение, и после сам точно так же благословил дочерей своих, упавших к ногам его; обряд этого прощанья был совершенно нов для меня и сделал на душу мою самое горестное впечатление. «Вот, думала я, как должно расставаться детям с отцом и матерью! А я, я убежала! Вместо благословения неслись за мною упреки раздраженных родителей, а может быть...» Ужасная мысль! Погрузясь в эти печальные размышления, я не слыхала, как все уже вышли и зала сделалась пуста. Шорох позади меня пробудил мое внимание и извлек из горестных мечтаний очень неприятным образом; ко мне подкрадывалась одна из женщин полковницы: «А вы что ж стоите здесь одна, барышня? Друзья ваши на лошадях, и Алкид бегает по двору!» Это сказала она с видом и усмешкою истинного сатаны. Сердце мое вздрогнуло и облилось кровью; я поспешно ушла от Мегеры! Казаки

были уже в строю; близ них Алкид мой рыл землю копытом от нетерпения. Поспешая взять его, я встретила строгий взгляд полковника: «В вашем положении надобно всегда быть первым; для вас это необходимо, Александр Васильевич»,— сказал он, выезжая перед фронт. Наконец, обычное «справа по три» двинуло полк с места. Скоро опять раздалось: «Душа добрый конь», опять возобновились сцены прежней походной жизни; но я теперь уже не та; сделавшись старее несколькими месяцами, я стала смелее и не прихожу более в замешательство при всяком вопросе. Офицеры Атаманского полка, будучи образованнее других, замечают в обращении моем ту вежливость, которая служит признаком хорошего воспитания, и, оказывая мне уважение, ищут быть со мною вместе.

В начале весны пришли мы в местечко Дружкополь, на берегу Буга; здесь же квартирует и Брянский мушкетерский полк генерала Лидерса. Офицеры обоих полков часто бывают вместе, род жизни их мне кажется убийственным: сидят в душной комнате, с утра до вечера курят трубки, играют в карты и говорят вздор. Полковник спрашивал меня, не хочу ли я определиться в Брянский полк?

— Сохрани боже, полковник, — отвечала я, — если б на всем шаре земном была одна только пехота, я никогда не пошел бы в службу; я не люблю пешую службу.

— Ну, как хотите, ваше от вас не уйдет, вы еще слишком молоды.

Я очень люблю ходить ночью одна в лесу или в поле; вчера я зашла весьма далеко от местечка, и было уже за полночь, когда я возвращалась домой; предавшись по обыкновению мыслям, я шла скоро, не замечая мест. Вдруг стон глухой и как будто из-под земли раздавшийся прервал и тишину ночи и мои мечтания; я остановилась, осматриваясь и прислушиваясь, я слышу опять стон и вижу себя в десяти шагах от кладбища; стон неся оттуда. Ни малейшая тень страха не взволновала души моей; я пошла к кладбищу, отворила ограду и, вошед туда, ходила по всем могилам, наклонялась, прислушивалась; стон разносился по всему кладбищу, и я, продолжая идти от одной могилы к другой, перешла наконец за церковь и с удивлением услышала, что стон наносится ветром со стороны болота, находящегося в

полуверсте от кладбища. Не понимая, что бы это могло значить, я спешила дойти на квартиру полковника, чтоб застать Щегрова не спящим и рассказать ему это происшествие. Я нашла в самом деле Щегрова бодрствующим и очень рассерженным; я была некоторым образом у него под надзором; продолжительное отсутствие мое в ночное время навело на него страх, и так рассказ мой был очень дурно принят: он сказал мне с досадою, что я глупо делаю, таскаясь ночью по кладбищам и обнюхивая могилы, как шакал, и что этот странный вкус доставит мне удовольствие занемочь гнилой горячкой, от которой умирало множество солдат Брянского полка; и кончил поучение свое замечанием, что если б я не прямо из-под крыла маменьки своей явился к ним и дал бы хоть немного обсохнуть молоку на губах своих, то мог бы знать, что слышанный мною стон происходил от птицы, живущей на болотах и называемой бугай, то есть бык. Ворчание старого казака отняло у меня охоту расспрашивать, для чего эта птица не кричит, не поет, не свищет, а стонет, и я, не говоря более ни слова, пошла спать.

Сын полковника учился в Любаре у иезуитов; он просил меня приехать к нему полюбоваться необычайною толщиною и огромностию двух его учителей. Квартиры наши в десяти верстах от Любара, и так я поехала туда верхом; я остановилась в той же корчме, в которой всегда останавливается полковник. Войдя в обширную комнату, какая обыкновенно бывает во всякой корчме, я увидела молодую жидовку, читающую нараспев свои молитвы; она стояла перед зеркалом и, завывая потихоньку свои псалмы, в то же время чернила брови и слушала с усмешкою молодого пехотного офицера, говорившего ей что-то вполголоса. Вход мой прервал эту сцену. Жидовка оборотилась ко мне, окинула быстро глазами и подошла так близко, что дыхание ее разливалось теплотою по лицу моему. «Что вам угодно?» — спросила она почти шепотом. Я отвечала, что прошу ее велеть присмотреть за моей лошадью, которую оставляю у нее в корчме.

— Вы будете ночевать здесь? — спросила она еще, с тою же таинственностью.

— Я ночую в кляшторе иезуитов, а может быть и здесь, не знаю наверное.

Услыша о кляшторе иезуитов, она отвернулась от меня, не говоря ни слова, и, приказав работнику взять мою лошадь, приняла прежнюю позицию перед зеркалом, снова запела сквозь зубы, наклонясь к офицеру, который опять начал говорить с нею. Оставя их, я пошла посмотреть, выгодно ли помещен Алкид мой и, видя его довольным во всем, пошла прямо в кляштор отцов иезуитов.

В самом деле, почтенные отцы Иероним и Антонио, учители молодого Б..., чудовищною толщиною своею привели меня в ужас. Огромная масса тел их превосходила всякое вероятие; они почти совсем не могли стоять, но все сидели и всю церковную службу читали у себя в келье сидя; дыхание их походило на глухой рев. Я села в угол и смотрела на них, не сводя глаз, с изумлением и некоторым родом страха. Молодой казак давил себе нос и зажимал рот, чтобы не захохотать над странным видом двух своих чудовищ в рясах и вместе моим. Наконец, приглашение к ужину прекратило набожный гул почтенных отцов и кривлянье молодого шалуна и мое изумление: мы пошли за стол. Повеса Б... шепнул мне на ухо, что по обязанности гостеприимства он посадит меня между своими учителями, чтоб наслаждаться приятностью их беседы. Я хотела было поскорее сесть подле него, но не успела: огромная рука схватила мою руку, и тихо ревущий голос раздался почти под потолком: «Не угодно ли взять место между нами? Прошу покорно! Пожалуйте сюда!» Ужин этот был для меня настоящею пыткою: не разумея польского языка, я не знала, что отвечать моим ужасным соседям с правой и левой стороны; сверх того, боялась еще, чтоб не наесться слишком лакомого кушанья в Польше. Мне было смертельно жарко, я беспрестанно краснела, и пот каплями выступал на лбу моем, одним словом, я была измучена и смешна до крайности. Но вот загремели стулья, огромные отцы поднялись. Бормотанье молитв их, подобно отдаленному рокотанью грома, носилось над головой моей. По окончании всех возможных церемоний, я с радостью увидела себя вне ограды монастырской, и первым движением было, вышед из ворот, почти бегом отдалиться от стен гостеприимной обители, в которой так грустно жить и так трудно дышать.

Атаманский полк идет в Гродно, казаки острят пики и сабли; к моему Алкиду приступа нет: храпит, прыгает, брыкает. Добрый конь! Какая-то будет наша участь с тобою? Мы пришли в Гродно, полк пробудет здесь только два дня, а там пойдет за границу. Полковник призвал меня: «Теперь вы имеете удобный случай определиться в который угодно из формирующихся здесь кавалерийских эскадронов. Но последуйте моему совету, будьте откровенны с начальником того полка, в который рассудите определиться. Хотя через это одно не примут вас юнкером, по крайней мере, вы выиграете его доброе расположение и хорошее мнение. А между тем, не теряя времени, пишите к своим родителям, чтоб выслали вам необходимые свидетельства, без которых вас могут и совсем не принять, или, по крайней мере, надолго оставят рядовым». Я поблагодарила его за совет и за покровительство, так долго мне оказываемое, и, наконец, простилась с ним. На другой день казаки ушли за границу, а я осталась в Гродно.

Гродно. Я одна, совершенно одна! Живу в заездной корчме. Алкид мой беспрестанно ржет и бьет копытом в землю: он тоже остался один. Из окна моего вижу я проходящие мимо толпы улан с музыкою и пляскою; они дружелюбно приглашают всех молодых людей взять участие в их веселости. Пойду узнать, что это такое. Это называется вербунок! Спаси боже, если нет другой дороги вступить в регулярный полк, как посредством вербунка! Это было бы до крайности неприятно. Когда я смотрела на эту пляшущую экспедицию, подошел ко мне управлявший ею портупей-юнкер, или по их наместник:

— Как вам нравится наша жизнь? Не правда ли, что она весела?

Я отвечала, что правда, и ушла от него. На другой день я узнала, что это полк Коннопольский, что они вербуют для укомплектования своего полка, потерявшего много людей в сражении, и что ими начальствует ротмистр. Собрав эти сведения, я отыскала квартиру наместника, вчера со мною говорившего. Он сказал мне, что если я хочу определиться в их полк на службу, то могу предложить просьбу об этом их ротмистру Казимирскому и что мне вовсе нет надобности плясать с толпою всякого сброду, лезущего к ним в полк. Я очень обрадо-

валась возможности войти в службу, не подвергаясь ненавистному обряду плясать на улице, и сказала это наместнику. Он не мог удержаться от смеха: «Да ведь это делается по доброй воле, и без этого легко можно обойтиться всякому, кто не хочет брать участия в нашей вакханалии. Не угодно ли вам идти со мною к Казимирскому? Ему очень приятно будет приобресть такого рекрута. Сверх этого я развеселю его на целый день, рассказав о вашем опасении». Говоря это, наместник хохотал от всего сердца; мы пошли. Из комнаты наместника нам надобно было проходить через ту большую горницу, о которой я уже говорила, что находится во всякой корчме. Она была полна улан и завербовавшихся рекрут; все это плясало и пело. Стараясь скорее миновать шумную толпу, я ухватила руку наместника, но в то же время один из улан, схватя мой стан рукою, влетел со мною в круг и, топнув ногой, приготовился начать мазурку, которую уже несколько пар прыгали и скользили без всякого порядка. Наместник освободил меня из рук этих очарованных плясунов: смех его удвоился от этого неожиданного случая; наконец, мы пришли на квартиру к Казимирскому.

Ротмистр Казимирский, лет около пятидесяти, имеет благородный и вместе воинственный вид; добродушие и храбрость дышат во всех чертах приятного лица его. Когда я вошла, то он, видно сочтя меня за казацкого офицера, вежливо поклонился и спросил: «Что вам угодно?» Я сказала, что желал бы служить в Коннопольском полку и, узнав, что ему поручено комплектовать этот полк, пришел просить о принятии меня на службу.

— Вас, на службу в Коннопольский полк! — сказал ротмистр с удивлением. — Вы казак, принадлежите к войску Донскому и в нем должны служить.

— Одеяние мое вас обманывает. Я русский дворянин и, следовательно, могу избирать род службы, какой хочу.

— Можете ли доказать это?

— Нет! Но если вам угодно поверить одному моему слову, что я точно русский дворянин, то я буду уметь ценить такое снисхождение и по окончании кампании обязываюсь доставить в полк все, что нужно для подтверждения справедливости слов моих.

— Как же это сделалось, что вы носите казачий мундир?

— Отец не хотел отдавать меня в военную службу, я ушел тихонько, присоединился к казачьему полку и с ним прошел сюда.

— Сколько лет вам? Как ваша фамилия?

— Мне семнадцатый год, фамилия моя Дуров.

Ротмистр оборотился к одному офицеру своего полка:

— Как думаешь? Принять его?

— Как хотите. Почему ж и не принять? Теперь война, люди надобны, а он обещает быть молодцом.

— А если он казак и почему-нибудь хочет укрыться от своих, вступя в регулярный полк?

— Не может этого быть, ротмистр! На лице его написано, что он не лжет, в этом возрасте притворяться не умеют. Впрочем, если вы откажете, он пойдет к другому, который не будет так излишне осторожен, и вы потеряете хорошего рекрута...

Весь этот переговор был по-польски. Ротмистр оборотился ко мне: «Согласен поверить вашему слову, Дуров! Надеюсь, что вы оправдаете мою доверенность вашим поведением». Я хотела было сказать, что в скором времени он сам увидит, стóю ли я чести быть принят в число воинов, имеющих завидное счастие служить Александру, но промолчала, боясь, чтоб не сочли этого за неуместное самохвальство. Я сказала только, что имею лошадь и желал бы на ней служить, если можно.

— Нельзя, — сказал ротмистр, — вам дадут казенную. Однако ж вы можете держать ее при себе до времени, пока найдете случай продать.

— Продать! Алкида! — вскрикнула я невольно, — ах, сохрани меня боже от этого несчастия!!.. Нет, господин ротмистр, у меня есть деньги, я буду кормить свою лошадь на свой счет и ни для чего в свете не расстанусь с нею!

Казимирский сам был от колыбели кавалерист, ему очень понравилась моя привязанность к наилучшему товарищу в военное время. Он сказал, что лошадь моя будет иметь место на его конюшне и вместе корм, что я могу на ней ехать за границу и что он берет на себя исходатайствовать мне позволение служить на ней. После этого велел послать к себе одного из улан, при нем находившихся, и отдал меня ему в смотрение, приказав учить меня маршировать, рубиться, стрелять, владеть

пикою, седлать, расседлывать, вьючить и чистить лошадь, и когда я несколько научусь всему этому, тогда обмундировать и употреблять на службу. Улан, выслушав приказание, тогда же взял меня с собою в *сборню* — так называется изба, а иногда и сарай, где учат молодых солдат всему, что принадлежит до службы.

Всякий день встаю я на заре и отправляюсь в сборню, оттуда все вместе идем в конюшню. Уланский ментор мой хвалит мою понятливость и всегдашнюю готовность заниматься эволюциями, хотя бы это было с утра до вечера. Он говорит, что я буду молодец. Надобно, однако ж, признаться, что я устаю смертельно, размахивая тяжелою пикою — особливо при этом вовсе ни на что непригодном маневре,— вертеть ею над головой; и я уже несколько раз ударила себя по голове; также не совсем покойно действую саблею; мне все кажется, что я порежусь ею; впрочем, я скорее готова поранить себя, нежели показать малейшую робость. Проведя все утро на ученье, обедать иду к Казимирскому. Он экзаменует меня с отеческим снисхождением, спрашивает, нравятся ли мне мои теперешние занятия и каким я нахожу военное ремесло? Я отвечала, что люблю воинское ремесло со дня моего рождения, что занятия воинственные были и будут единственным моим упражнением, что считаю звание воина благороднейшим из всех и единственным, в котором нельзя предполагать никаких пороков, потому что неустрашимость есть первое и необходимое качество воина; с неустрашимостью неразлучно величие души, и при соединении этих двух великих достоинств нет места порокам или низким страстям.

— Неужели вы думаете, молодой человек, — спрашивал ротмистр,— что без неустрашимости нельзя иметь качеств, достойных уважения? Есть много людей, робких от природы и имеющих прекраснейшие свойства.

— Очень верю, ротмистр. Но думаю также, что неустрашимый человек непременно должен быть добродетелен.

— Может быть, вы правы, — говорил ротмистр, улыбаясь. — Но, — присовокупил он, трепля меня по плечу и покручивая усы, — подождем лет десяток и также подождем первого сражения, опыт во многом может разуверить.

После обеда Казимирский ложился спать, а я шла в конюшню дать лошади полуденную ее порцию овса; после этого я была свободна делать, что хочу, до шести часов вечера.

Сколько ни бываю я утомлена, размахивая целое утро тяжелою пикою — сестрою сабли, маршируя и прыгая на лошади через барьер, но в полчаса отдохновения усталость моя проходит, и я от двух до шести часов хожу по полям, горам, лесам бесстрашно, беззаботно и безустанно. Свобода, драгоценный дар неба, сделалась наконец уделом моим навсегда! Я ею дышу, наслаждаюсь, ее чувствую в душе, в сердце! Ею проникнуто мое существование, ею оживлено оно. Вам, молодые мои сверстницы, вам одним понятно мое восхищение! Одни только вы можете знать цену моего счастия! Вы, которых всякий шаг на счету, которым нельзя пройти двух сажен без надзора и охранения, которые от колыбели и до могилы в вечной зависимости и под вечною защитою, бог знает от кого и от чего! Вы, повторяю, одни только можете понять, каким радостным ощущением полно сердце мое при виде обширных лесов, необозримых полей, гор, долин, ручьев и при мысли, что по всем этим местам я могу ходить, не давая никому отчета и не опасаясь ни от кого запрещения. Я прыгаю от радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу более слов: *«Ты, девка, сиди. Тебе неприлично ходить одной прогуливаться!»* Увы, сколько прекрасных ясных дней началось и кончилось, на которые я могла только смотреть заплаканными глазами сквозь окно, у которого матушка приказывала мне плесть кружево! Горестное воспоминание об угнетении, в каком прошли детские лета мои, прекратило тотчас веселые скачки. Около часа я бываю скучна, когда вспомню о своей домашней жизни, но, к счастию, с каждым днем вспоминаю об ней реже, и только одна мысль, что воле моей, как взору, нет границ, кружит радостию мою голову.

Меня и еще одного товарища Вышемирского приказал ротмистр назначить в первый взвод, под команду поручика Бошнякова; взвод этот квартирует в бедной помещичьей деревне, окруженной болотами.

Какая голодная сторона эта Литва! Жители так бедны, бледны, тощи и запуганы, что без сожаления нельзя смотреть на них. Глинистая земля, усеянная камнями,

худо награждает тягостные усилия удобрять и обрабатывать ее. Хлеб их так черен, как уголь, и сверх этого смешан с чем-то колючим (дресва); невозможно есть его, по крайней мере, я не могу съесть ни одного куска.

Более трех недель стоим мы здесь. Мне дали мундир, саблю, пику, так тяжелую, что мне кажется она бревном; дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую перевязь с подсумком, наполненным патронами. Все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело. Надеюсь, однако же, привыкнуть. Но вот к чему нельзя уже никогда привыкнуть, так это к тиранским казенным сапогам — они как железные! До сего времени я носила обувь мягкую и ловко сшитую, нога моя была свободна и легка, а теперь! Ах, боже! Я точно прикована к земле тяжестию моих сапог и огромных брячащих шпор. Охотно бы заказала сшить себе одну пару жиду-сапожнику, но у меня так мало денег; надобно терпеть, чего нельзя переменить.

С того дня, как я надела казенные сапоги, не могу уже более по-прежнему прогуливаться и, будучи всякий день смертельно голодна, провожу все свободное время на грядах с заступом, выкапывая оставшийся картофель. Поработав прилежно часа четыре сряду, успеваю нарыть столько, чтоб наполнить им мою фуражку. Тогда несу в торжестве мою добычу к хозяйке, чтобы она сварила ее. Суровая эта женщина всегда с ворчаньем вырвет у меня из рук фуражку, нагруженную картофелем, с ворчаньем высыплет в горшок и, когда поспеет, то, выложив в деревянную миску, так толкнет ее ко мне по столу, что всегда несколько их раскатится по полу. Что за злая баба! А, кажется, ей нечего жалеть картофелю, он весь уже снят и где-то у них запрятан; плод же неусыпных трудов моих не что иное, как оставшийся очень глубоко в земле или как-нибудь укрывшийся от внимания работавших.

Вчера хозяйка разливала молоко; в это время я вошла с моей фуражкой, полной картофеля. Хозяйка испугалась, а я обрадовалась и начала убедительно просить ее дать немного молока к моему картофелю. Страшно было видеть, как лицо ее подернулось злобою и ненавистию! Со всеми проклятиями налила она молока в миску, вырвала у меня из рук фуражку, рассыпала весь

мой картофель по полу, но тотчас, однако ж, кинулась подбирать; это последнее действие, которого я угадывала причину, рассмешило меня.

Взводный начальник наш, поручик Бошняков, взял меня и Вышемирского к себе на квартиру. Будучи хорошо воспитан, он обращается с нами обоими, как прилично благородному человеку обращаться с равными ему. Мы живем в доме помещика. Нам, то есть офицеру нашему, дали большую комнату, отделяемую сенями от комнат хозяина. Мы с Вышемирским полные владетели этой горницы, потому что поручик наш почти никогда не бывает и не ночует дома. Он проводит все свое время в соседней деревне, у старой помещицы, вдовы; у нее есть прекрасная дочь, и поручик наш, говорит его камердинер, смертельно влюблен в нее. Жена помещика наших квартир, молодая дама редкой красоты, очень недовольна, что постоялец ее не живет на своей квартире. Она всякой раз, как увидит меня или Вышемирского, спрашивает, очень мило картавя: «Что ваш офицер делает у NN? Он там от утра до ночи и от ночи до утра!..» От меня она слышит в ответ одно только — *не знаю!* Но Вышемирский находит забавным уверять ее, что поручик страшится потерять спокойствие сердца и для того убегает опасной квартиры своей.

Я привыкла к своим кандалам, то есть к казенным сапогам, и теперь бегаю так же легко и неутомимо, как прежде. Только на ученье тяжелая дубовая пика едва не отламывает мне руку, особливо когда надобно вертеть ею поверх головы: досадный маневр!

Мы идем за границу! В сраженье! Я так рада и так печальна. Если меня убьют, что будет с старым отцом моим? Он любил меня.

Чрез несколько часов я оставлю Россию и буду в чужой земле. Пишу к отцу, где я и что̀ я теперь; пишу, что падая к стопам его и обнимая колена, умоляю простить мне побег мой, дать благословение и позволить идти путем, необходимым для моего счастия. Слезы мои падали на бумагу, когда я писала, и они будут говорить за меня отцовскому сердцу. Только что я отнесла письмо на почту, велено выводить лошадей, — мы сию минуту выступаем. Мне позволяют ехать, служить и сражаться на моем Алкиде. Мы идем в Пруссию, и сколько я могу заметить, совсем не торопимся; наши переходы

умеренны, и дневки, как обыкновенно, через два дня и через три.

На третьем переходе Вышемирский сказал, что от этой дневки недалеко селение дяди его, у которого живет и воспитывается родная его сестра.

— Я попрошусь у ротмистра съездить туда на один день, поедешь ли со мною, Дуров?

— Если отпустят, охотно поеду, — отвечала я.

Мы пошли к ротмистру, который, узнав наше желание, тогда же отпустил нас, приказав только Вышемирскому беречь свою лошадь и подтвердив нам обоим, чтоб непременно явились через сутки в эскадрон. Мы отправились. Селение помещика Куната, дяди Вышемирского, отстояло пять миль от деревни, где должно было дневать нашему эскадрону, и мы, хотя ехали все рысью, приехали, однако ж, в глубокую полночь. Тишина ее нарушалась единозвучным стуком по доске, раздававшимся внутри обширного двора господского, обнесенного высоким забором; это был сторож, ходивший вокруг дома и стучавший чем-то по доске. Ворота не были заперты, и мы беспрепятственно въехали на двор, гладкий, широкий, покрытый зеленою травою. Но только что шаги лошадей наших послышались в тиши ночной, в один миг стая сторожевых собак окружила нас с громким лаем; я хотела было, несмотря на это, сойти с лошади, но увидя вновь прибежавшую собаку почти вровень с моим конем, села опять в седло, решаясь не вставать, хотя бы это было до рассвета, пока кто-нибудь не придет отогнать атакующих нас зверей. Наконец, сторож с клепалом в руках явился перед нами; он тотчас узнал Вышемирского и чрезвычайно обрадовался. Собаки по первому сигналу убрались в свои лари, явились люди, принесли огня, лошадей наших взяли, отвели в конюшню, а нас просили идти к пану эконому, потому что господа спали и все двери кругом заперты. Не знаю, как весть о приезде Вышемирского проникла сквозь запертые двери целого дома, но только сестра его, спавшая близ теткиной спальни, узнала и тотчас пришла к нам. Это было прекраснейшее дитя лет тринадцати. Она важно присела перед своим братом, сказала *«як се маш?»* * и бросилась со слезами обнимать

* Як се маш? (польск.) — как ваше здоровье?

его. Я не могла понять этого контраста. Нам подали ужинать и принесли ковры, подушки, соломы и простыни, чтоб сделать нам постели. Панна Вышемирская восстала против этого распоряжения; она говорила, что постель не нужна, что скоро будет день и что брат ее верно охотно будет сидеть и разговаривать с нею, нежели спать. Эконом смеялся и отдавал ей на выбор или идти в свою комнату, не мешая нам лечь спать, или остаться и для разговора с братом лечь к нам в средину. Девочка сказала: *«Встыдьсе, пане экономе!»* * и ушла, поцеловав прежде брата и поклонясь мне. На другой день позвали нас пить кофе к господину Кунату. Важного вида польский пан сидел с женою и сыновьями в старинной зале, обитой малиновым штофом; стулья и диваны были обиты тою же материею и украшены бахромою, надо думать, в свое время золотою, но теперь все это потускло и потемнело. Комната имела мрачный вид, совершенно противоположный виду хозяев, ласковому и добродушному. Они обняли своего племянника, вежливо поклонились мне и приглашали взять участие в завтраке. Все это семейство чрезвычайно полюбило меня; спрашивали о летах моих, о месте родины, и когда я сказала им, что живу недалеко от Сибири, то жена Куната вскрикнула от удивления и смотрела на меня с новым любопытством, как будто житель Сибири был существо сверхъестественное! Во всей Польше о Сибири имеют какое-то странное понятие. Кунат сыскал на карте город, где живет отец мой, и уверял, смеючись, что я напрасно называю себя сибиряком, что, напротив, я азиятец. Увидя на столе бумагу и карандаши, я просила позволить мне что-нибудь нарисовать. «О, очень охотно»,— отвечали мои хозяева. Не занимаясь уже давно этим приятным искусством, я так рада была случаю изобразить что-нибудь, что сидела за добровольною своею работою более двух часов. Нарисовав Андромеду у скалы, я была осыпана похвалами от молодых и старых Кунатов. Поблагодаря их за снисхождение к посредственности таланта моего, я хотела подарить мой рисунок панне Вышемирской, но старая Кунатова взяла его из рук у меня, говоря: «Отдайте мне, если он вам

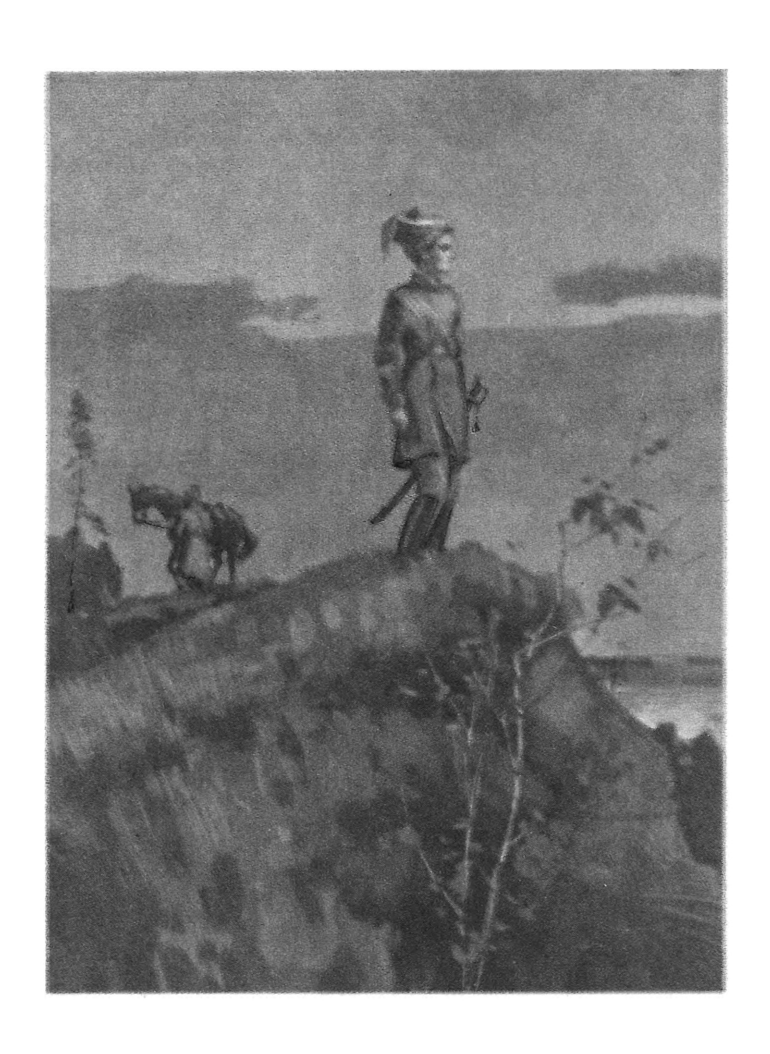
* Встыдьсе, пане экономе! (польск.) — стыдитесь, господин эконом!

не надобен, я буду говорить всем, что это рисовал конноползц, урожденный сибиряк!» Кунат вслушался: «Извини, мой друг, ты ошибаешься, Дуров азиятец; вот посмотри сама», — говорил он, таща огромную карту к столу жены своей.

На другой день мы простились с Кунатами. Они проводили нас в коляске верст десять. «Срисуйте, Дуров, местоположение нашей деревни, — сказала жена Куната, — это иногда приведет вам на память людей, полюбивших вас, как сына». Я сказала, что и без того никогда их не забуду. Наконец, мы расстались; коляска Кунатов поворотила назад, а мы пустились легким галопом вперед. Вышемирский молчал и был пасмурен. Саквы его были наполнены разною провизиею и возвышались двумя холмами по бокам его лошади. Наконец, он стал говорить: «Поедем шагом, дары дядюшкины набьют спину моей лошади. Зачем я приезжал? Им чужие дороже своих! Они только тобою и занимались, а меня как будто не было тут. Что в таких родных!» Самолюбие Вышемирского жестоко страдало от явного предпочтения, оказанного мне его родственниками. Я старалась его успокоить: «Что мне в том, Вышемирский, что дядя и тетка твои так занимались мною, зато сестра твоя ни разу не взглянула на меня и ни слова не сказала со мною во все то время, которое мы у них пробыли. Не хочешь ли поменяться? Возьми себе внимание дяди и тетки, отдай мне ласки, слезы и поцелуи сестры твоей». Вышемирский вздохнул, меланхолически усмехнулся и стал рассказывать, что маленькая сестра его жаловалась на слишком строгое содержание и стеснение. Я тотчас вспомнила свою жизнь в отцовском доме, матушкину строгость, жестокую неволю, беспрерывное сидение за работой, вспомнила — и печаль отуманила лицо мое; я вздохнула в свою очередь, и мы оба кончили путь наш молча.

Сегодня эскадрон наш присоединился к полку; завтра ротмистр Казимирский должен представить всех нас на смотр генерал-майору Каховскому, и завтра разместят всех по другим эскадронам.

Смотр кончился. Казимирский был столько вежлив, что не поставил меня в одну шеренгу с завербованными, но представил особливо Каховскому. Он назначил меня в лейб-эскадрон, которым командует ротмистр Галер.



К стр. 19

Наконец, мечты мои осуществились! Я воин! Коннополец, ношу оружие и, сверх того, счастие поместило меня в один из храбрейших полков нашей армии!

Мая 22-го, 1807

Гутштадт. В первый раз еще видела я сражение и была в нем. Как много пустого наговорили мне о первом сражении, о страхе, робости и, наконец, отчаянном мужестве! Какой вздор! Полк наш несколько раз ходил в атаку, но не вместе, а поэскадронно. Меня бранили за то, что я с каждым эскадроном ходила в атаку. Но это, право, было не от излишней храбрости, а просто от незнания; я думала, так надобно, и очень удивлялась, что вахмистр чужого эскадрона, подле которого я неслась как вихрь, кричал на меня: «Да провались ты отсюда! Зачем ты здесь скачешь?» Воротившись к своему эскадрону, я не стала в свой ранжир, но разъезжала поблизости: новость зрелища поглотила все мое внимание. Грозный и величественный гул пушечных выстрелов, рев или какое-то рокотанье летящего ядра, скачущая конница, блестящие штыки пехоты, барабанный бой и твердый шаг и покойный вид, с каким пехотные полки наши шли на неприятеля,— все это наполняло душу мою такими ощущениями, которых я никакими словами не могу выразить.

Едва было я не лишилась своего неоцененного Алкида: разъезжая, как я уже сказала, вблизи своего эскадрона и рассматривая любопытную картину битвы, увидела я несколько человек неприятельских драгун, которые, окружив одного русского офицера, сбили его выстрелом из пистолета с лошади. Он упал, и они хотели рубить его, лежащего. В ту же минуту я понеслась к ним, держа пику наперевес. Надобно думать, что эта сумасбродная смелость испугала их, потому что они в то же мгновение оставили офицера и рассыпались врознь. Я прискакала к раненому и остановилась над ним; минуты две смотрела я на него молча; он лежал с закрытыми глазами, не подавая знака жизни; видно, думал, что над ним стоит неприятель. Наконец, он решился взглянуть, и я тотчас спросила, не хочет ли он сесть на мою лошадь? — «Ах, сделайте милость, друг мой!» — сказал он едва слышным голосом. Я тотчас

сошла с лошади и с трудом подняла раненого, но тут и кончилась моя услуга: он упал ко мне на руку грудью, и я, чуть держась на ногах, не знала, что мне делать и как посадить его на Алкида, которого тоже держала за повод другою рукою. Такое положение кончилось бы очень невыгодно для обоих, то есть для офицера и для меня, но, к счастью, подъехал к нам его полка солдат и помог мне посадить раненого на мою лошадь. Я сказала солдату, чтоб лошадь прислали в Коннопольский полк товарищу Дурову, а драгун сказал мне, что спасенный мною офицер — поручик Панин, Финляндского драгунского полка, и что лошадь мою тотчас пришлют. Офицера повезли к его полку, а я пошла к своему. Я чувствовала себя весьма в невыгодном положении, оставшись пешком среди скачки, стрельбы, рубки на саблях и, видя, что все это или пролетало молниею, или с уверенностью в доброте коня своего тихо галопировало в разных направлениях, вскликнула: «Увы, мой Алкид! Где он теперь?» Я очень раскаивалась, отдавши так безрассудно свою лошадь, и тем более, что мой ротмистр, сначала с участием спросивший меня: «Твою лошадь убили, Дуров? Не ранен ли ты?», но узнавши, как это случилось, что я хожу тут пешком, с досадою вскрикнул на меня: «Пошел за фронт, повеса!» Хотя печально, но поспешно шла я к тому месту, где видела флюгера пик Коннопольского полка. Встречающиеся с сожалением говорили: «Ах, боже мой, посмотри, какой молодой мальчик ранен». Иначе никто не мог думать, видя улана пешком, в залитом кровью мундире. Я уже сказала, что раненый офицер лежал грудью на руке у меня, и надобно полагать, что рана его была на груди, потому что весь мой рукав был в крови.

К неизъяснимой радости моей, Алкид возвращен мне, хотя и не так, как я надеялась, но все возвращен: я шла задумчиво полем к своему полку, вдруг вижу едущего от неприятельской стороны нашего поручика Подвышанского на моей лошади. Я не вспомнилась от радости и, не заботясь о том, каким случаем конь мой очутился под Подвышанским, подбежала гладить и ласкать своего Алкида, который тоже изъявил радость свою прыжком и громким ржаньем. «Разве эта лошадь твоя?» — спросил удивившийся Подвышанский. Я рассказала ему свое приключение. Он тоже не похвалил

моей опрометчивости и сказал, что купил мою лошадь у казаков за два червонца. Я просила отдать мне ее обратно и взять от меня деньги, им заплаченные. «Хорошо, но на сегодня оставь его у меня; лошадь мою убили, и мне не на чем быть в деле!» Сказал, дал шпоры моему Алкиду и ускакал на нем; а я, я только что не плакала, видя моего ратного товарища в чужих руках, и поклялась в душе никогда уже более никому во всю жизнь не отдавать своей лошади! Наконец, этот мучительный день кончился. Подвышанский отдал мне Алкида, и армия наша преследует теперь ретирующегося неприятеля.

24-го мая

Берег Пасаржи. Странное дело! Мы так мало торопились, преследуя неприятеля, что он успел переправиться через эту речку, на берегах которой мы теперь стоим, и нас же встретил выстрелами! Может быть, я ничего в этом не разумею, но мне кажется, что надобно было идти на плечах неприятеля и разбить его при переправе.

Там же, на берегу Пасаржи. Другой день стоим мы здесь и ничего не делаем, да и делать нечего. Впереди нас егеря перестреливаются с неприятельскими стрелками через речку; наш полк поставлен тотчас за егерским. Но как нам совсем уже нет дела, то и приказано сойти с лошадей. Я голодна смертельно! У меня нет ни одного сухаря. Казаки, поймавшие моего Алкида, сняли с него саквы с сухарями, плащ и чемодан; я получила свою лошадь с одним только седлом, а все прочее пропало. Я стараюсь во сне забыть, что мне есть хочется, однако ж это не помогает. Наконец, улан, которому я поручена была в смотрение, и имевший еще и теперь власть ментора, заметя, что на седле моем сакв нет и что лицо мое бледно, предложил мне три больших заплесневелых сухаря. Я с радостью взяла их и положила в яму, полную дождевой воды, чтоб они несколько размокли. Хотя я не ела более полутора суток, однако ж не могла съесть более одного из этих сухарей, так они были велики, горьки и зелены. Мы продолжали стоять на одном месте. Стрелки перестреливаются, уланы так лежат на траве. Я пошла от скуки ходить по холмам,

где стоят казацкие ведеты. Сходя с одного пригорка, я увидела ужасное зрелище: два егеря, хотевшие, видно, спрятаться от выстрелов или просто на свободе выпить свое вино, лежали оба мертвые. Смерть нашла их в этом убежище; они оба убиты были одним ядром, которое, сорвав сидящему выше всю грудь, пробило товарищу его, сидевшему несколько ниже, бок, вырвало внутренности и вместе с ними лежало; подле него тут же лежала и манерка их с водкою. Содрогаясь, ушла я от страшного вида двух этих тел. Возвратясь к полку, я легла было в кустах и заснула, но была очень скоро и неприятно разбужена: близ меня упало ядро, вслед за ним прилетело еще несколько. Я вскочила и отбежала шагов десять от этого места, но фуражка моя там осталась, я не успела схватить ее. Она лежала на траве и на темной зелени ее была похожа на огромный цветок, по своему яркому малиновому цвету. Вахмистр приказал мне идти взять ее, и я пошла, хотя не совсем охотно, потому что ядра густо и беспрерывно падали в этот кустарник. Причиною этой неожиданной пальбы на нас были наши флюгера: мы воткнули пики в землю при лошадях. Разноцветные флюгера, играя с ветром и трепеща в воздухе, привлекли внимание неприятеля; угадывая по ним наше присутствие в этом лесочке, он направил туда свои пушки. Теперь нас отвели дальше, и пики велено положить на землю.

Вечером полку нашему приказано быть на лошадях. До глубокой полночи сидели мы на конях и ожидали, когда нам велят двинуться с места. Теперь мы сделались арьергардом и будем прикрывать отступление армии. Так говорит наш ротмистр. Устав смертельно сидеть на лошади так долго, я спросила Вышемирского, не хочет ли он встать. Он сказал, что давно сошел бы с коня, если б не ожидал каждую минуту, что полк пойдет.— «Мы это услышим и вмиг сядем на лошадей,— сказала я,— а теперь переведем их за этот ров и ляжем тут на траве». Вышемирский последовал моему совету. Мы перевели своих лошадей через ров и сами легли в кустах. Я обвила повод около руки и тотчас заснула. Слышу имя свое, два раза повторенное; чувствую, что Алкид толкает меня головою, храпит и бьет копытом в землю; слышу, что земля задрожала подо мною и потом все затихло. Сердце мое замирало, я по-

нимала опасность, силилась проснуться и не могла. Алкид мой, бесценный конь, хотя остался один, слышал в отдалении своих товарищей, был на свободе, потому что повод ослаб и спал с руки моей, не ушел, однако ж, от меня, но только беспрестанно бил копытом землю и храпел, наклоняя ко мне морду. С трудом, наконец, открыла я глаза, встала; вижу, что Вышемирского нет; смотрю на место, где стоял полк, его нет! Я окружена мраком и безмолвием ночи, столь страшной в теперешнем случае. Глухо отдающийся топот лошадей дает мне понять, что полк удаляется на рысях. Спешу сесть на Алкида, и справедливость требует признаться, что нога моя не вдруг сыскала стремя. Сев, я опустила повода, и мой конь, верный, превосходный конь мой, перескочил ров и прямо через кустарник понес меня легким, быстрым скоком прямо к полку, догнал его в четверть часа и стал в свой ранжир. Вышемирский сказал, что он считал меня погибшим. Он говорил, что сам очень испугался, слыша полк удаляющимся, и потому, кликнув меня два раза, оставил на волю божию участь мою.

29-го и 30-го мая

Гейльзберг. Французы тут дрались с остервенением. Ах, человек ужасен в своем исступлении! Все свойства дикого зверя тогда соединяются в нем. Нет! Это не храбрость. Я не знаю, как назвать эту дикую, зверскую смелость, но она недостойна назваться неустрашимостию. Полк наш в этом сражении мало мог принимать деятельного участия: здесь громила артиллерия и разили победоносные штыки пехоты нашей. Впрочем, и нам доставалось: мы прикрывали артиллерию, что весьма невыгодно, потому что в этом положении оскорбление принимается безответно, то есть должно, ни на что несмотря стоять на своем месте неподвижно. До сего времени я еще ничего не вижу страшного в сражении, но вижу много людей, бледных, как полотно, вижу, как низко наклоняются они, когда летит ядро, как будто можно от него уклониться. Видно, страх сильнее рассудка в этих людях. Я очень много уже видела убитых и тяжело раненых. Жаль смотреть на этих последних, как они стонут и ползают по так называемому полю чести! Что может усладить ужас подобного положения простому сол-

дату? Рекруту? Совсем другое дело образованному человеку: высокое чувство чести, героизм, приверженность к государю, священный долг к отечеству заставляют его бесстрашно встречать смерть, мужественно переносить страдания и покойно расставаться с жизнию.

В первый раз еще опасность была так близка ко мне, как уже нельзя быть ближе: граната упала под брюхо моей лошади и тотчас лопнула, черепки с свистом полетели во все стороны. Оглушенная, осыпанная землею, я едва успела на Алкиде, который дал такого скачка в сторону, что я думала, в него вселился дьявол. Бедный Вышемирский, который жмурится при всяком выстреле, говорит, что он не усидел бы на таком неистовом прыжке. Но всего удивительнее, что ни один черепок не задел ни меня, ни Алкида! Это такая необыкновенность, которой не могут надивиться мои товарищи. Ах, верно, молитвы отца и благословение старой бабушки моей хранят жизнь мою среди сих страшных, кровавых сцен.

С самого утра идет сильный дождь; я дрожу, на мне ничего нет сухого. Беспрепятственно льется дождевая вода на каску, сквозь каску на голову, по лицу за шею, по всему телу, в сапоги, переполняет их и течет на землю несколькими ручьями. Я трепещу всеми членами, как осиновый лист. Наконец, нам велели отодвинуться назад, на наше место станет другой кавалерийский полк. И пора, давно пора! Мы стоим здесь почти с утра, промокли до костей, окоченели, на нас нет лица человеческого, и сверх этого потеряли много людей.

Когда полк наш стал на дистанцию, безопасную от выстрелов неприятельских, то я попросила ротмистра позволить мне съездить в Гейльзберг, находившийся от нас в версте расстоянием. Мне нужно было подковать Алкида: он потерял одну подкову, да еще хотелось купить что-нибудь съесть; я так голодна, что даже с завистию смотрела на ломоть хлеба в руке одного из наших офицеров. Ротмистр позволил мне ехать, но только приказал скорее возвращаться, потому что наступала ночь и полк мог переменить место. Я и Алкид, оба дрожащие от холода и голода, понеслись как вихрь к Гейльзбергу. В первой попавшейся мне на глаза заездной корчме поставила я своего коня и, увидя тут же кузнецов, кующих казацких лошадей, просила подковать и мою, а сама пошла в комнату. В ней был разведен большой огонь на

некотором роде очага или камина какой-то особливой конструкции; подле стояли большие кожаные кресла, на которые я в ту ж минуту села, и только успела отдать жидовке деньги, чтобы она купила мне хлеба, как в то же мгновение погрузилась в глубочайший сон... Усталость, холод от мокрого платья, голод и боль всех членов от продолжительного сиденья на лошади, юность, неспособная к перенесению стольких соединенных трудов,— все это вместе, лиша меня сил, предало беззащитно во власть сну, как безвременному, так и опасному. Я проснулась от сильного потрясения за плечо. Открыв глаза, с изумлением смотрю вокруг себя, не могу понять, где я? Зачем в этом месте? И даже что я такое сама? Сон все еще держит в оцепенении умственные силы мои, хотя глаза уже открыты. Наконец, я опомнилась и чрезвычайно встревожилась. Глубокая ночь уже наступила и покрывала мраком своим все предметы; на очаге едва было столько огня, чтоб осветить горницу. При свете этого, то вспыхивающего, то гаснущего пламени, увидела я, что существо, потрясавшее меня за плечо, был егерский солдат, который, сочтя меня по пышным белым эполетам за офицера, говорил: «Проснитесь, проснитесь, ваше благородие! Канонада усиливается! Ядра летят в город!» Я бросилась опрометью туда, где поставила свою лошадь; увидела, что она стоит на том же месте, посмотрела ее ногу — не подкована! В корчме ни души: жид и жидовка убежали; о хлебе нечего уже было и думать! Я вывела своего Алкида и увидела, что еще не так поздно, как мне показалось; солнце только что закатилось, и вечер сделался прекрасный, дождь перестал, и небо очистилось. Я села на моего бедного голодного и неподкованного Алкида. Подъехав к городским воротам, я ужаснулась того множества раненых, которые тут столпились, — должно было остановиться! Не было никакой возможности пробраться сквозь эту толпу пеших, конных, женщин, детей. Тут везли подбитые пушки, понтоны, и все это так столпилось, так сжалось в воротах, что я пришла в совершенное отчаяние. Время летело, а я не могла даже и пошевелиться, окруженная со всех сторон беспрестанно движущеюся навстречу мне толпою, но нисколько не редеющею. Наконец, стемнело совсем. Канонада затихла, и все замолкло окрест, исключая того

места, где я стояла. Тут стон, писк, визг, брань, крик чуть не свели с ума меня и моего коня; он поднялся бы на дыбы, если б было столько простора, но как этого не было, то он храпел и лягал кого мог. Боже, как мне вырваться отсюда? Где я теперь найду полк? Ночь делается черна, не только темна. Что я буду делать! К великому счастию моему, увидела я, что несколько казаков пробиваются как-то непостижимо сквозь эту сжатую массу людей, лошадей и орудий. Видя их, ловко проскакивающих в ворота, я вмиг примкнула к ним и проскочила также, но только жестоко ушибла себе колено и едва не выломила плечо. Вырвавшись на простор, я погладила крутую шею Алкида: жаль мне тебя, верный товарищ, но нечего делать, ступай в галоп! От легкого прикосновения ноги конь мой пустился в скок. Я вверилась инстинкту Алкида. Самой нечего уже было браться распоряжать путем своим: ночь была так темна, что и на двадцать шагов нельзя было хорошо видеть предметов. Я опустила повода; Алкид скоро перестал галопировать и пошел шагом, беспрестанно храпя и водя быстро ушьми. Я угадывала, что он видит или обоняет что-нибудь страшное, но, не видя, как говорится, ни зги, не знала, как отстраниться от беды, если она предстояла мне. Очевидно было, что армия оставила свое место и что я одна блуждаю среди незнакомых полей, окруженная мраком и тишиною смерти.

Наконец, Алкид зачал всходить на какую-то крутизну, столь чрезвычайную, что я всею силою должна была держаться за гриву, чтоб не скатиться с седла. Мрак до такой степени сгустился, что я совсем уже ничего не видала перед собою, не понимала, куда еду и какой конец будет такому путешествию. Пока я думала и передумывала, что мне делать, Алкид начал спускаться вдруг с такой же точно ужасной крутизны, на какую поднимался, тут уже некогда было размышлять. Для сохранения головы своей, я поспешно спрыгнула с лошади и повела ее в руках, наклоняясь почти до земли, чтобы видеть, где ставить ногу, и принимая все предосторожности, необходимые при таком опасном спуске. Когда мы с Алкидом стали, наконец, на ровном месте, тогда я увидела страшное и вместе плачевное зрелище: несчетное множество мертвых тел покрывало поле. Их можно было видеть: они были или совсем раздеты, или в одних ру-

бахах и лежали как белые тени на черной земле. На большом расстоянии виделось множество огней и вплоть подле меня большая дорога, за мною редут, на который Алкид взбирался и с которого я с таким страхом спускалась. Узнавши, наконец, где я нахожусь, и полагая наверное, что виденные мною огни разведены нашею армиею, я села опять на свою лошадь и направила путь свой по дороге к огням, прямо против меня, но Алкид свернул влево и пошел сам собою в галоп. Путь, им выбранный, был ужасен для меня; он скакал между мертвыми телами, то перескакивал их, то наступал, то отскакивал в сторону, то останавливался, наклонял морду, нюхал труп и храпел над ним. Я не могла долее выносить и повернула его опять на дорогу. Конь послушался с приметным нехотением и прошел шагом, все стараясь, однако ж, принять влево. Через несколько минут я услышала топот многих лошадей, голоса людей и, наконец, увидела едущую прямо ко мне толпу конных; они что-то говорили и часто повторяли: «ваше превосходительство!» Я обрадовалась, полагая наверное, что «превосходительство» знает, где огни коннопольцев, или, в противном случае, позволит мне примкнуть к его свите. Когда они подъехали ко мне близко, то едущий впереди, надобно думать, сам генерал, спросил меня: «Кто это едет?» Я отвечала: «Коннополец!»

— Куда ж ты едешь?

— В полк!

— Но полк твой стоит вон там, — сказал генерал, указывая рукою в ту сторону, в которую мой верный Алкид так усильно старался свернуть, — а ты едешь к неприятелю!

Генерал и свита его поскакали к Гейльзбергу, а я, поцеловав несколько раз ушко бесценного моего Алкида, отдала ему на волю выбирать дорогу. Почувствовав свободу, верный конь в изъявление радости взвился на дыбы, заржал и поскакал прямо к огням, светящимся в левой стороне от дороги. Мертвых тел не было на пути моем, и благодаря быстроте Алкида в четверть часа я была дома, то есть в полку. Коннопольцы были уже на лошадях. Алкид мой с каким-то тихим, дружелюбным ржаньем поместился в свой ранжир и только что успел установиться, раздалась команда: *«Справа по три марш!»* Полк двинулся. Вышемирский и прочие товарищи одного

со мною отделения обрадовались моему возвращению; но вахмистр счел обязанностию побранить меня: «Ты делаешь глупости, Дуров! Тебе не сносить добром головы своей! Под Гутштадтом, в самом пылу сражения, вздумал отдать свою лошадь какому-то раненому!.. Неужели ты не имел ума понять, что кавалерист пешком среди битвы самая погибшая тварь? Над Пасаржею ты сошел с лошади и лег спать в кустах, тогда как весь полк с минуты на минуту ожидал приказания идти и идти на рысях. Что ж бы с тобою было если б ты не имел лошади, которая, не во гнев тебе сказать, гораздо тебя умнее! В Гейльзберг отпустили тебя на полчаса, а ты уселся против камина спать, тогда как тебе и думать о сне нельзя было, то есть непозволительно. Солдат должен быть более нежели человек! В этом звании нет возраста. Обязанности его должны быть исполняемы одинаково как в 17, так в 30 и 80 лет. Советую тебе умирать на коне и в своем ранжире, а то предрекаю тебе, что ты или попадешься бесславно в плен, или будешь убит мародерами, или, что всего хуже, будешь сочтен за труса!» Вахмистр замолчал, но последняя фраза его жестоко уколола меня. Вся кровь бросилась мне в лицо.

Есть, однако ж, границы, далее которых человек не может идти!.. Несмотря на умствования вахмистра нашего об обязанностях солдата, я падала от сна и усталости; платье мое было мокро. Двое суток я не спала и не ела, беспрерывно на марше, а если и на месте, то все-таки на коне, в одном мундире, беззащитно подверженная холодному ветру и дождю. Я чувствовала, что силы мои ослабевали от часу более. Мы шли справа по три, но если случался мостик или какое другое затруднение, что нельзя было проходить отделениями, тогда шли по два в ряд, а иногда и по одному. В таком случае четвертому взводу приходилось стоять по нескольку минут неподвижно на одном месте. Я была в четвертом взводе и при всякой благодетельной остановке его вмиг сходила с лошади, ложилась на землю и в ту ж секунду засыпала. Взвод трогался с места, товарищи кричали, звали меня, и как сон, часто прерываемый, не может быть крепок, то я тотчас просыпалась, вставала и карабкалась на Алкида, таща за собою тяжелую дубовую пику. Сцены эти возобновлялись при каждой остановке. Я вывела из терпения своего унтер-офицера и рассердила товарищей; все они

сказали мне, что бросят меня на дороге, если я еще хоть раз сойду с лошади. «Ведь ты видишь, что мы дремлем, да не встаем же с лошадей и не ложимся на землю; делай и ты так». Вахмистр ворчал вполголоса: «Зачем эти щенята лезут в службу! Сидели бы в гнезде своем!» Остальное время ночи я оставалась уже на лошади, дремала, засыпала, наклонялась до самой гривы Алкида и поднималась с испугом: мне казалось, что я падаю! Я как будто помешалась! Глаза открыты, но предметы изменяются как во сне. Уланы кажутся мне лесом, лес — уланами. Голова моя горит, но сама дрожу, мне очень холодно. Все на мне мокро до тела!..

Рассвело; мы остановились; нам позволили развесть огонь и сварить кашу. Ах, слава богу, теперь я лягу спать перед огнем, согреюсь и высохну!

— Нельзя, — говорит вахмистр, видя меня усевшуюся близ огня и свертывающую в комок траву, чтоб положить под голову,— нельзя! Ротмистр приказал кормить лошадей на траве. Вынь удила из рта своей лошади и веди ее на траву.

Я пошла с моим Алкидом ходить в поле, как и другие. Он ел росистую траву, а я грустно стояла подле него.

— Ты бледен, как мертвый, — сказал Вышемирский, подходя ко мне со своей лошадью. — Что с тобою? Ты не здоров?

— Нет, здоров, но жестоко перезяб, дождь промочил меня насквозь, и у меня вся кровь оледенела, а теперь еще надобно ходить по мокрой траве!

— Кажется, дождь мочил всех нас одинаково, отчего ж мы сухи?

— Вы все в шинелях.

— А твоя где?

— Взяли казаки вместе с саквами и чемоданом.

— Это по какому чуду?

— Разве ты забыл, что я посадил на свою лошадь раненого драгунского офицера и позволил отвести его на ней в его полк?

— Ну, да, помню. Так что ж?

— А вот что: лошадь свою нашел я уже в руках Подвышанского, он купил ее у казаков с одним только седлом, а прочее все пропало!

— Худо, товарищ, ты всех нас моложе. В холодное ночное время не долго выдержишь без шинели! Скажи

вахмистру, он даст тебе шинель после убитого, их пропасть отсылают в вагенбург.

Мы говорили еще несколько времени. Наконец, солнце взошло довольно высоко, день сделался жарок, мундир мой высох, усталость прошла, и я была бы очень весела, если б могла надеяться что-нибудь съесть. Но об этом нечего было думать: я не имела своей доли в той каше, которая варилась. И так я стала прилежно искать в траве каких-нибудь ягод. Ротмистр, проезжая мимо ходящих по полю улан с их лошадьми, заметил мое упражнение.

— Чего ты ищешь, Дуров? — спросил он, подъехав ко мне.

Я отвечала, что ищу ягод. Видно, ротмистр угадал причину, потому что оборотясь к взводному унтер-офицеру, сказал ему вполголоса: «Смотри, чтоб Дуров и Вышемирский были сыты». Он поехал далее, а старые солдаты говорили вслед: «Если мы будем сыты, так будут и они! Об этих щенках всегда больше думают, нежели о старых заслуженных солдатах!»

— Какие вы дураки, старые заслуженные солдаты! — сказал подходивший к нам вахмистр.— О ком же и заботиться, как не о детях! Вы, я думаю, и сами видите, что оба эти товарища только что вышли из детского возраста.

«Пойдемте со мною, дети,— говорил шутя вахмистр, взяв обоих нас за руки,—ротмистр велел накормить вас». Нам дали супу, жареного мяса и белого хлеба.

Видя, что лошади пасутся покойно и уланы спят на лугу, я не находила никакой надобности бодрствовать одна. Было уже более полудня, жар сделался несносен. Я сошла на берег речки, протекавшей близ нашего стана, и легла в высокую траву спать. Алкид ходил неподалеку от меня. Глубокий сон мой был прерван криком *«Мунштучь!.. садись!»* и топотом бегущих улан к лошадям и с лошадьми к фронту. Я вскочила опрометью. Вахмистр был уже на коне и торопил улан строиться; ищу глазами Алкида и, к ужасу моему, вижу его, плывущего через реку прямо к другому берегу. В это время вахмистр подскакал ко мне: «Ты что стоишь без лошади?» Некогда было колебаться! Я бросилась вслед за моим Алкидом, и оба вместе вышли на противный берег. В одну минуту я замунштучила, села, переплыла обратно и стала на свое место прежде, нежели эскадрон совсем построился.

— Ну, по крайней мере, молодецки поправился,— сказал вахмистр с довольным видом.

Шепенбель. Великий боже, какой ужас: местечко все почти сожжено! Сколько тут зажарившихся людей, о, несчастные!

Июнь 1807

Фридланд. В этом жестоком и неудачном сражении храброго полка нашего легло более половины. Несколько раз ходили мы в атаку, несколько раз прогоняли неприятеля и, в свою очередь, не один раз были прогнаны. Нас осыпали картечами, мозжили ядрами, а пронзительный свист адских пуль совсем оглушил меня. О, я их терпеть не могу! Дело другое — ядро. Оно, по крайней мере, ревет так величественно, и с ним всегда короткая разделка. После нескольких часов жаркого сражения, остатку полка нашего велено несколько отступить для отдохновения. Пользуясь этим, я поехала смотреть, как действует наша артиллерия, вовсе не думая того, что мне могут сорвать голову совершенно даром. Пули осыпали меня и лошадь мою, но что значат пули при этом диком, безумолкном реве пушек?

Какой-то улан нашего полка, весь покрытый кровью, с перевязанною головою и окровавленным лицом, ездит без цели по полю то в ту, то в другую сторону. Бедный, он не помнит куда ехать, насилу держится в седле! Я подъехала к нему и спросила, которого он эскадрона? Он что-то пробормотал и покачнулся так сильно, что я должна была удержать его, чтоб не упал. Видя, что он без памяти, я привязала повод его лошади к шее Алкида и, поддерживая одной рукою израненного, поехала с ним к речке, чтобы освежить его водою. Близ речки он как-то образумился, сполз с лошади и упал у ног моих от слабости. Что мне было делать? Бросить его нельзя — погибнет. Довезть до безопасного места — нет возможности. Да и где тут безопасное место? Кругом стрельба, пальба, ядра скачут во всех направлениях, гранаты лопаются и в воздухе и на земле, конница, как волнующееся море, то несется вперед, то отступает назад, и в этом ужасном смешении я уже не вижу нигде флюгеров нашего полка. Между тем нельзя было терять времени. Я зачерпнула в каску воды и облила ею голову и лицо раненого; он

открыл глаза. «Ради бога, не покиньте меня здесь,— сказал он, с трудом приподнимаясь, — я сяду кой-как на лошадь, отведите меня шагом за последнюю линию нашей армии. Бог наградит ваше человеколюбие». Я помогла ему сесть на лошадь, села сама на Алкида, взяла опять повод лошади раненого улана и поехала к Фридланду.

Жители бегут, полки отступают. Множество негодяев солдат, убежавших с поля сражения, не быв ранеными, рассеивают ужас между удаляющимися толпами, крича: «Все погибло! Нас разбили наголову! Неприятель на плечах у нас! Бегите! Спасайтесь!» Хотя я не совсем верила этим трусам, однако ж, видя драгун, целыми взводами на рысях несущимися через город, не могла быть покойною. От всей души сожалела я, что увлеклась любопытством смотреть на пальбу из пушек и что злой рок послал мне раненого. Оставить его на произвол случая казалось мне последнею степенью подлости и бесчеловечия — я не могла этого сделать! Несчастный улан, с помертвевшим лицом, обращал ко мне испуганный взор свой. Я поняла его опасения.

— Можешь ли ты ехать немного скорее? — спросила я.

— Не могу, — отвечал несчастный и тяжело вздохнул.

Мы продолжали ехать шагом. Мимо нас бежали и скакали, крича нам: «Ступайте скорее! Неприятель близко!» Наконец, мы въехали в лес. Я свернула с дороги и поехала чащею леса, не выпуская из рук повода лошади раненого улана. Тень и прохлада леса освежили несколько силы моего товарища, но он, на беду свою, сделал из этого самое дурное употребление: вздумал закурить трубку, остановился, высек огня, закурил свой отвратительный табак, и через минуту глаза его закатились, трубка выпала из рук, и он упал безжизненно на шею своей лошади, Я остановилась, стащила его наземь, положила и, не имея никакого способа привесть в чувство, стояла подле его с обеими лошадьми, дожидаясь, пока он опомнится сам собою. Через четверть часа он открыл глаза, поднялся, сел и смотрел на меня с сумасшедшим видом. Я видела, что он мешается в уме. Голова его была вся изрублена, и табачный дым произвел над нею действие вина. «Садись на лошадь, — сказала я, — иначе мы поздно приедем, вставай, я помогу тебе». Он не отвечал ничего, но силился встать; я пособила ему подняться на ноги.

Держа одною рукою повода лошадей, а другою помогая ему подняться на стремя, я едва не упала оттого, что ополоумевший улан вместо того, чтоб взяться за гриву коня, оперся всею тяжестью руки на мое плечо.

Мы опять поехали. Толпы все еще бежали с прежним криком *«Спасайтесь!»*. Наконец, я увидела провозимые мимо нас орудия. Я спросила своего protége*, не хочет ли он при них остаться, что ему покойнее будет лежать на лафете, нежели сидеть на лошади. Он приметно обрадовался моему предложению, и я тотчас спросила артиллерийского унтер-офицера, возьмет ли он под свой присмотр раненого улана и его лошадь? Тот охотно взялся и тотчас велел снять моего товарища с лошади, постлать несколько попон на лафет и положить его на нем. Я затрепетала от радости, увидя себя свободною, и тогда же поехала бы отыскивать полк, если б могла от кого-нибудь узнать, где он. До самой ночи ехала я одна, расспрашивая тех, кто проезжал мимо меня, не знают ли они, где Коннопольский уланский полк? Одни говорили, что он впереди, что одна часть армии пошла куда-то в сторону и что в этом отряде и мой полк. Я была в отчаянии. Наступила ночь, надобно было дать отдохнуть Алкиду. Я увидела группу казаков, разведших огонь и варивших себе ужин. Сошед с лошади, я подошла к ним:

— Здравствуйте, братцы! Вы верно будете здесь ночевать?

— Будем, — отвечали они.

— А лошадей как? Пустите на траву?

Они посмотрели на меня с удивлением:

— Да куда же больше? Конечно, на траву.

— И они далеко не уйдут от вас?

— А на что вам это знать? — спросил меня один старый казак, смотря в глаза мне пристально.

— Я хотел бы пустить с вашими лошадьми свою пастись на траву, только боюсь, чтоб она не отошла далеко.

— Ну посматривайте за нею, привяжите ее на аркан, да обмотайте его около руки, так лошадь и не уйдет, не разбудя вас. Мы своих пускаем на арканах.

Сказавши это, старый казак пригласил меня есть с ними их кашу. После этого они спутали своих лошадей и, привязав их на арканы, обмотали концами их каждый

---

* protégé (франц.) — подзащитного.

свою руку и легли спать. Я ходила за Алкидом в недоумении, мне тоже хотелось лечь, но как оставить лошадь на всю ночь ходить на свободе? Аркана у меня не было. Наконец, вздумала я связать Алкиду передние ноги носовым платком; это был тонкий батистовый платок, которых дюжина была мне подарена еще в Малороссии бабушкою. Один только из этой дюжины уцелел и был со мною везде. Я очень любила его и сама мыла всякий день в ручье, в речке, в озере, в луже, где случалось. Этим платком связала я ноги моему Алкиду и позволила ему есть траву, а сама легла спать неподалеку от казаков.

Заря занялась уже, когда я проснулась; казаков и лошадей их не было, не было также и Алкида моего. Смертельно испуганная и выше всякого выражения опечаленная, поднялась я с травы, на которой так покойно спала. Вокруг меня по всему полю ходили оседланные драгунские лошади. С горьким сожалением в душе пошла я наудачу искать между ними моего Алкида. Ходя с полчаса из стороны в сторону, увидела я кусок моего платка, белеющийся вдалеке. Я побежала туда, и, к неописанной радости, Алкид прибежал ко мне, прыгая; он заржал и положил голову ко мне на плечо. Один конец белого платка волочился еще за правою ногою его, но остаток был изорван в клочки и разбросан по полю. Мунштук и трензельные повода с удилами были взяты. Спрашивать об них у драгун бесполезно: кто им велит сказать, а и того более, отдать? Ужасное положение! Как в таком виде показаться в полк? Это был прекрасный случай научиться эгоизму: принять твердое намерение всегда и во всяком случае думать более о себе, нежели о других. Два раза уступала я чувству сострадания и в оба раза была очень дурно награждена. Сверх того, в первый раз ротмистр назвал меня повесою, а что же теперь подумает он обо мне? Сражение продолжалось, когда мне вздумалось подъехать к нашим пушкам, и вдруг меня не стало. Ужасная мысль! Я страшилась остановиться на ней... Драгуны, узнав причину моего беспокойства, дали мне длинный ремень, чтобы сделать из него повода, и сказали, что полк мой очень недалеко должен быть впереди, что он также ночевал, как и они, и что я могу застать его еще на месте. Привязывая гадкий ремень к оголовью, оставшемуся на Алкиде, я чувствовала жестокую досаду

на самую себя: «О, прекрасный конь мой, — говорила я мысленно, — у какой взбалмошной дуры ты в руках!» Но ни раскаяние, ни сожаление, ни досада не спасли меня от беды. Я приехала в полк, и теперь уже не ротмистр, но сам Каховский, генерал наш, сказал мне, что храбрость моя сумасбродная, сожаление безумно, что бросаюсь в пыл битвы, когда не должно, хожу в атаку с чужими эскадронами, среди сражений спасаю встречного и поперечного и отдаю лошадь свою, кому вздумается ее попросить, а сам остаюсь пешком среди сильнейшей сшибки; что он выведен из терпения моими шалостями, и приказывает мне ехать сейчас в вагенбург. Мне, в вагенбург! До последней капли кровь ушла из лица моего. И самый страшный сон не представлял мне ничего ужаснее этого наказания. Казимирский, отечески любивший меня, с сожалением смотрел на изменение лица моего; он что-то сказал тихонько шефу, но тот отвечал: «Нет! Нет! Надобно сберечь его». Потом оборотясь ко мне, стал говорить гораздо уже ласковее: «Я отсылаю вас в вагенбург для того, чтобы сохранить для отечества храброго офицера на будущее время. Через несколько лет вы с большею пользою можете употребить ту смелость, которая теперь будет стоить вам жизни, не принеся никакой выгоды». Ах, что мне в этих пустых утешениях! Это одни слова, а сущность та, что я еду в вагенбург. Я пошла к Алкиду готовить его в этот постыдный путь. Обняв верного товарища ратной жизни моей, я плакала от стыда и печали! Горячие слезы мои, падая на черную гриву его, катились и скользили по вальтрапу. Вышемирского тоже отсылают в вагенбург. За что ж его? Он всегда на своем месте, его нельзя укорить ни в безрассудной смелости, ни в неуместной жалости, он имеет всю рассудительность и хладнокровие зрелого возраста.

Все готово. И вот началось наше погребальное шествие: раненые лошади, раненые люди, и мы двое, в цвете лет, совершенно здоровые, движемся медленно, нога за ногою к месту успокоения, к проклятому вагенбургу. Ничего я так сильно не желаю, как того, чтобы Каховскому до самого окончания кампании ни разу не довелось быть в деле.

Тильзит. Здесь мы соединились с нашим полком. Все, что только в силах держать оружие, все в строю. Говорят, что отсюда мы пойдем в Россию. Итак, кампании

конец! Конец и моим надеждам, мечтам; вместо блистательных подвигов я наделала сумасбродств. Буду ли когда иметь случай загладить их? Беспокойный дух Наполеона и нетвердость короны на голове его обеспечивают меня в этой возможности. Еще заставит он Россию поднять грозное оружие свое, но скоро ли это будет? И что я буду до того времени? Неужели все только товарищем? Произведут ли меня в офицеры, без доказательств о дворянстве? А как их достать? Наша грамота у дядюшки, если б он прислал ее! Но нет, он не сделает этого. Напротив. О боже, боже! Для чего я осталась живою! Я так углубилась в плачевные размышления свои, что не видела, как ротмистр подскакал к тому месту, где я стояла.

— Что это, Дуров! — сказал он, дотрагиваясь слегка до плеча моего саблею. — Время ли теперь вешать голову и задумываться? Сиди бодро и смотри весело, государь едет!

Сказав это, поскакал далее. Раздались командные слова, полки выровнялись, заиграли в трубы, и мы преклонили пики несущемуся к нам на прекрасной лошади, в сопровождении многочисленной свиты, обожаемому царю нашему.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЙСК В РОССИЮ

Вошед в родную землю нашу, армия разошлась покорпусно, подивизионно и даже полками в разные места. Полк наш и полки Псковский драгунский и Орденский кирасирский стоят лагерем. У нас шалаши так огромны, как танцевальные залы: в каждом из них помещается взвод. Ротмистр призвал меня и Вышемирского к себе. Он сказал, что военное время, в которое могли мы все вместе лежать на соломе, кончилось, что теперь надобно соблюдать пунктуально все приличия и обязанности службы; что мы должны всякому офицеру становиться во фронт, на часах делать ему на караул, то есть саблею вперед, и на перекличке окликаться голосом громким и отрывистым. Меня отряжают наравне с другими стеречь ночью наше сено, чистить заступом пляцувку, то есть место для развода перед гаубтвахтою, и стоять на часах у церкви и порохового ящика. Всякое утро и вечер водим мы лошадей наших на водопой к реке, которая от нас в версте расстоянием. Мне достается иногда вести двух

лошадей в руках и на третьей сидеть. В таком случае я доезжаю благополучно только к реке, но оттуда до лагеря лечу, как вихрь, с моими тремя лошадьми и на лету слышу сыплющиеся вслед мне ругательства от улан, драгун и кирасир. Все они не могут тогда справиться с своими лошадьми, соблазненными дурным примером моих, которые, зная, что у коновязи дадут им овса, несут меня во весь дух и на скаку прыгают, брыкают, рвутся из рук, и я каждую минуту ожидаю быть сорванною с хребта моего Алкида. Выговор за неумение удержать играющих лошадей достается мне всякий раз от вахмистра и дежурного офицера.

Наконец, мы на квартирах. Жизнь моя проходит в единообразных занятиях солдата: на рассвете я иду к своей лошади, чищу ее, кормлю и, накрыв попоною, оставляю под покровительством дневального, а сама иду на квартиру, на которой я, к удовольствию моему, стою одна. Хозяйка моя теперь добрая женщина, дает мне молоко, масло и хороший хлеб. Глубокая осень делает прогулки мои не так приятными для меня. Как была бы я рада, если б могла иметь книги! У ротмистра их много; думаю, он не нашел бы странным, если бы я попросила его позволить мне прочесть их, но боюсь, однако ж, пуститься на этот риск. Если сверх ожидания моего скажет он, что солдату есть чем заняться, кроме книг, тогда мне будет очень стыдно. Подожду, будет еще время читать. Неужели я буду всю жизнь простым солдатом? Вышемирского произвели уже в унтер-офицеры. Правда, у него есть покровительница, графиня Понятовская. Еще при начале кампании она сама привезла его к Бенигсену и получила от него обещание быть непосредственным покровителем ее питомца. Но я, я одна в этом пространном мире. Кому надобность заботиться обо мне? Надобно всего ожидать от времени и самой себя! Странно было бы, если б начальники мои не умели отличить меня от солдат, взятых от сохи.

Кресы — так называется у коннопольцев обязанность развозить приказы из штаба в эскадронную квартиру: *«быть на кресах»* — значит быть послану с одним из таких приказов. Сегодня моя очередь. Это объявил мне Гачевский, мой взводный унтер-офицер:

— Тебе на кресы, Дуров.

— Очень рад!

Я в самом деле рада всякой новости. В лагере меня очень веселила откомандировка чистить пляцувку; я так охотно работала, соскабливала с земли траву заступом, сметала ее в кучу метлою, и все это делала как будто всю жизнь никогда ничего другого не делала. Бывший ментор мой почти всегда присутствовал при этих трудах; он трепал меня по плечу и говорил: *«Zmorduieszsie, dziecko! Pracuj po' woli»* *.

Вечером принесли приказ из штаба, и Гачевский велел мне сейчас отправиться с ним к ротмистру, квартировавшему в пяти верстах от нашего селения.

— Я пойду пешком, — сказала я Гачевскому, — мне жаль мучить Алкида.

— Мучить! Да тут всего пять верст. А впрочем, если тебе алкидовых ног жаль больше нежели своих, ступай пешком.

Я пошла. Солнце уже закатилось, вечер был прекрасный. Дорога пролегала через поля, засеянные рожью, в иных местах извивалась между кустарником. В Польше природа пленительна. По крайней мере я нахожу ее лучше нашей северной. У нас и середи лета нельзя забыть о зимней стуже: так она всегда близко к нам. Наша зима, настоящая зима, страшная, всемертвящая! А здесь она так коротка, так снисходительна. Снег здешней зимы оставляет взору удовольствие видеть верхушки травы, и этот вид не совсем скрывшейся зелени дает отрадное предчувствие сердцу, что при первом весеннем ветре покажется земля, а там трава, а там — тепло и весна!.. Пока я шла и мечтала, небо закрылось тучами и начал кропить мелкий и теплый дождик. Я прибавила шагу, и как селение было в виду, то я успела дойти до него прежде нежели дождь пошел сильнее. Ротмистр прочитал приказ, спросил меня, хороши ли наши квартиры, и после сказал:

— Ведь уже ночь, ты можешь завтра отправиться в взвод, а теперь поди переночуй в конюшне.

Я совсем этого не ожидала, и мне стало стыдно за Галера: не с ума ли он сошел? Правда, ему и во сне не снится, кто я... Однако ж, все-таки зачем посылать на конюшню?.. Вот прекрасная спальня!

---

* Zmorduieszsie, dzieckol Pracuj po woli (польск.) — Замучишься, детка! Работай, пока хочется.

Дождь совсем уже перестал и только изредка покрапывал; я пошла обратно. Но чтоб быть скорее дома, вздумала идти по глазомеру, прямым путем в ту сторону, где я знала, что была наша деревня. Чтоб успеть в этом, надобно было идти без дороги, через хлебные, поля, что я и исполнила, ни минуты не размышляя. Не будет ли этот прямой путь длиннее обыкновенной дороги? Пока я шла с краю ржаного поля, то все еще было сносно; ночь была светла, я могла ясно различать предметы. Рожь, смоченная дождем, хотя и обвивалась около меня, но платье мое все еще не промокало. Наконец, тропинка стала углубляться в средину поля, я вошла в рожь, высокую и густую, и была выше ее только одною головой. Горя нетерпением выйти скорее на чистое место, я шла быстро, не заботясь уже, что густая рожь все свои дождевые капли отдавала мне на мундир. Но сколько ни торопилась, не видела конца необозримой равнине колосьев, волнующихся, как море. Я устала, вода текла с меня ручьями, от скорой ходьбы сделалось мне до нестерпимости жарко; тут я пошла тише и утешалась только тем, что ночь когда-нибудь кончится и что я при свете дня увижу, наконец, где наша деревня. Покорясь мысленно своему грустному предназначению проплутать всю ночь по мокрой ниве, между высокою рожью, я шла тихо и невесело. Да и что могло развлекать меня, идущую по уши во ржи и не имеющую перед глазами ничего, кроме колосьев?

Через полчаса терпеливого путешествия моего и когда я менее всего надеялась увидеть что-нибудь похожее на деревню или забор, вдруг очутилась у самых ворот деревни. Ах, как я обрадовалась! Вмиг отворила ворота и почти мигом примчалась к своей квартире. Там все уже спали, огня не было, и я долго еще возилась впотьмах, пока отыскала чемодан, вынула из него белье, разделась, переоделась, завернулась в шинель, легла и в ту ж секунду заснула.

— Алкид!.. О смертельная боль сердца, когда ты утихнешь!.. Алкид, мой неоцененный Алкид! Некогда столь сильный, неукротимый, никому недоступный и только младенческой руке моей позволявший управлять собою! Ты, который так послушно носил меня на хребте своем в детские лета мои, который протекал со мною

кровавые поля чести, славы и смерти, делил со мною труды, опасности, голод, холод, радость и довольство! Ты, единственное из всех животных существ, меня любившее! Тебя уже нет. Ты не существуешь более!

Четыре недели прошло со времени этого несчастного происшествия. Я не принималась за перо. Смертельная тоска тяготит душу мою. Уныло хожу я всюду с поникшею главою. Неохотно исполняю обязанности своего звания. Где б я ни была и чтоб ни делала, грусть везде со мною и слезы беспрестанно навертываются на глазах моих. На часах сердце мое обливается кровью. Меня сменяют, но я не побегу уже к Алкиду... Увы, я пойду медленно к могиле его. Раздают вечернюю дачу овса, я слышу веселое ржанье коней наших, но молчит голос, радовавший душу мою!.. Ах, Алкид, Алкид, веселие мое погребено с тобою!.. Не знаю, буду ли в силах описать трагическую смерть незабвенного товарища и юных лет моих и ратной жизни моей! Перо дрожит в руке, и слезы затмевают зрение. Однако ж буду писать. Когда-нибудь батюшка прочитает записки мои и пожалеет Алкида моего.

Лошади наши стояли все вместе в большой эскадронной конюшне, и мы так же, как в лагере, водили их на водопой целым эскадроном. Дурная погода, не позволявшая делать ни ученья, ни проездки, была причиною, что лошади наши застоялись и не было возможности сладить с ними при возвращении с водопоя. В день, злосчастнейший в жизни моей, вздумала я, к вечному раскаянию моему, взять Алкида в повод. Прежде я всегда садилась на него, а в повод брала других лошадей, теперь на беду свою сделала напротив. Когда ехали к реке, Алкид прыгал легонько, не натягивая повода, и то терся мордою об колено мое, то играя, брал губами за эполет. Но на обратном пути, когда все лошади зачали прыгать, скакать на дыбы, храпеть, брыкать, а некоторые, вырвавшись, стали играть и визжать, то мой несчастный Алкид, увлекшись примером, взвился на дыбы, прыгнул в сторону, вырвал повод из рук моих и, несомый злым роком своим, полетел, как стрела, перепрыгивая на скаку низкие плетни и изгороди. О горе, горе мне, злополучной свидетельнице ужаснейшего моего несчастия! Следуя глазами за быстрым скоком моего Алкида, вижу его прыгающего... и смертный холод пробегает по телу моему... Алкид пры-

гает через плетень, в котором заостренные колья на аршин выставились вверх. Сильный конь мог подняться в высоту, но увы, не мог перенестись. Тяжесть тела опустила его прямо на плетень. Один из кольев вонзился ему во внутренность и переломился. С криком отчаяния пустилась я скакать вслед за моим несчастным другом. Я нашла его в стойле, он трепетал всем телом, и пот ручьями лился с него. Пагубный обломок оставался во внутренности и еще на четверть был виден снаружи. Смерть была неизбежна. Прибежав к нему, я обняла его шею и обливала слезами. Добрый конь положил голову на плечо мое, тяжело вздыхал и, наконец, минут через пять упал и судорожно протянулся... Алкид, Алкид!.. Для чего я не умерла тут же... Дежурный офицер, увидя, что я обнимаю и покрываю поцелуями и слезами бездыханный труп моей лошади, сказал, что я глупо ребячусь, и приказал вытащить ее в поле. Я побежала к ротмистру просить, чтоб приказал оставить в покое тело моего Алкида и позволил мне самой похоронить его.

— Как! Бедный Алкид твой умер? — спросил ротмистр с участием, видя заплаканные глаза мои и бледное лицо. — Жаль, жаль!.. Ты так любил его. Ну что ж делать, не плачь. Я велю дать тебе любую лошадь из эскадрона. Ступай, похорони своего товарища.

Он послал со мною своего вестового, и дежурный офицер не мешал уже мне заняться печальною работою, хоронить моего Алкида. Товарищи мои, тронутые чрезмерностью моей горести, вырыли глубокую яму, опустили в нее Алкида, засыпали его землею и, нарезав саблями дерну, обложили им высокий курган, под которым спит сном беспробудным единственное существо, меня любившее.

Товарищи мои, кончив свою работу, пошли в эскадрон, а я осталась и до глубокой ночи плакала на могиле моего Алкида. Человеколюбивый ротмистр приказал, чтоб дня два не мешали мне грустить и не употребляли никуда по службе. Почти все это время я не оставляла могилы коня моего. Несмотря на холодный ветер и на дождь, я оставалась на ней до полночи; возвратясь на квартиру, ничего не ела и плакала до утра. На третий день взводный начальник мой, призвав меня, сказал, чтобы я выбрал себе лошадь, что ротмистр приказал дать мне любую.

— Благодарю за милость,— отвечала я,— но теперь все лошади равны для меня, я возьму, какую вам угодно будет дать мне.

Когда я приходила убирать моего Алкида, то делала это охотно, но теперь такое занятие кажется мне очень неприятным. С глубоким вздохом отвела я свою новую лошадь в то стойло, где умер мой Алкид, и накрыла ее тою попоною, которою три дня тому назад покрывала его. Я уже не плачу, но безрадостно брожу по пожелтевшим полям. Смотрю, как холодный осенний дождь брызжет на могилу Алкида моего и мочит дерн, по которому он так весело прыгал.

Всякое утро первые шаги мои — к могиле Алкида. Я ложусь на нее, прижимаюсь лицом к холодной земле, и горячие слезы мои уходят в нее вместе с дождевыми каплями. Переносясь мысленно к детским летам моим, я вспоминаю, сколько радостных часов доставляли мне редкая привязанность и послушание этой прекрасной лошади. Вспоминаю те превосходные летние ночи, когда я, ведя за собой Алкида, всходила на Старцову гору по такой тропинке, по которой взбирались туда одни только козы. Мне ничего не стоило идти по ней, маленькие ступни мои так же удобно устанавливались на ней, как и козлиные копытца, но добрый конь рисковал оборваться и разбиться в прах; несмотря на это, он шел за мною послушно, хотя и дрожал от страха, видя себя на ужасной высоте и над пропастью. Увы, мой Алкид! Сколько бед, сколько опасностей пронеслось мимо, не сделав тебе никакого вреда! Но мое безрассудство, мое гибельное безрассудство положило, наконец, тебя в могилу. Мысль эта терзает, раздирает душу мою... Ничто уже не радует меня, самая тень усмешки исчезла с лица моего. Все, что ни делаю, делаю машинально, по навыку. С мертвым равнодушием еду на ученье, молчаливо возвращаюсь, когда оно кончится, расседлываю лошадь и ставлю на место, не глядя на нее, и ухожу, не говоря ни с кем ни слова.

За мною приехал унтер-офицер от шефа, меня требуют в штаб. Зачем же это? Однако ж мне велено отдать свою лошадь, седло, пику, саблю и пистолеты в эскадрон, и так, видно, я сюда не возвращусь. Пойду проститься с Алкидом. Я так же неутешно плакала на могиле моего Алкида, как и в день смерти его, и, сказав ему *вечное прости,* впоследнее поцеловала землю, его покрывающую.

Полоцк. Какой-то важный переворот готовится в жизни моей. Каховский спрашивал меня, согласны ли были мои родители, чтобы я служил в военной службе и не против ли их воли это сделалось. Я тотчас сказала правду, что отец и мать мои никогда б не отдали меня в военную службу, но что, имея непреодолимую наклонность к оружию, я тихонько ушла от них с казачьим полком. Хотя мне только семнадцать лет, однако ж я имею уже столько опытности, чтобы угадать тотчас, что Каховский знает обо мне более, нежели показывает, потому что выслушав мой ответ, он не оказал и виду удивления к странному образу мыслей моих родителей, не хотевших отдать сына в военную службу, тогда как все дворянство предпочтительно избирает для детей своих военное звание. Он сказал только, что мне должно ехать в Витебск к Буксгевдену с господином Нейдгардтом, его адъютантом. Нейдгардт был тут же. Когда Каховский отдал мне это приказание, то Нейдгардт тотчас раскланялся и пошел со мною к себе в дом. Он оставил меня в зале, а сам ушел к своему семейству во внутренние комнаты. Через четверть часа то одна, то другая голова начали выглядывать на меня из недотворенных дверей. Нейдгардт не выходил: он там обедал, пил кофе и сидел долго, а я все время была одна в зале. Какие странные люди! Для чего они не пригласили меня обедать с ними?

К вечеру мы выехали из Полоцка. На станциях Нейдгардт пил кофе, а я должна была стоять у повозки, пока переменяли лошадей.

Теперь я в Витебске, живу на квартире Нейдгардта. Он стал другим человеком, разговаривает со мною дружески и, как вежливый хозяин, угощает меня чаем, кофеем, завтраком, словом, поступает так, как бы надобно поступать сначала. Он говорит, что привез меня в Витебск по приказанию главнокомандующего и что мне должно будет к нему явиться.

Я все еще живу у Нейдгардта. Поутру мы вместе завтракаем, после он уходит к главнокомандующему, а я остаюсь в квартире или хожу гулять. Но теперь глубокая осень и вместе глубокая грязь. Не находя места, где б можно было ходить по-людски, я иду в трактир, в котором Нейдгардт всегда обедает; там дожидаюсь его и обедаю с ним вместе. После обеда он уходит, а я остаюсь в комнате содержательницы трактира; мне тут очень ве-

село; трактирщица, добрая, шутливая женщина, зовет меня *улан-панна* и говорит, что если я позволю себя зашнуровать, то она держит пари весь свой трактир с доходом против злотого, что во всем Витебске нет ни у одной девицы такой тонкой и прекрасной талии, как моя. С этими словами она тотчас идет и приносит свою шнуровку. Дочери ее хохочут, потому что в эту шнуровку могли бы поместиться они все и вместе со мною.

Пять дней минуло, как я живу в Витебске. Наконец, сегодня вечером Нейдгардт сказал мне, что завтра должно мне быть у главнокомандующего, что он приказал привесть меня часу в десятом поутру.

На другой день мы пошли с Нейдгардтом к графу Буксгевдену; он ввел меня к нему в кабинет и сам тотчас вышел. Главнокомандующий встретил меня с ласковою улыбкою и прежде всего спросил: «Для чего вас арестовали? Где ваша сабля?» Я сказала, что все мое вооружение взяли от меня в эскадрон.

— Я прикажу, чтоб все это вам отдали. Солдата никуда не должно отправлять без оружия.

После этого спросил, сколько мне лет, и продолжал говорить так: «Я много слышал о вашей храбрости, и мне очень приятно, что все ваши начальники отозвались об вас самым лучшим образом...» Он замолчал на минуту, потом начал опять: «Вы не испугайтесь того, что скажу вам. Я должен отослать вас к государю, он желает видеть вас. Но повторяю, не пугайтесь этого. Государь наш исполнен милости и великодушия, вы узнаете это на опыте». Я, однако ж, испугалась:

— Государь отошлет меня домой, ваше сиятельство, и я умру с печали!

Я сказала это с таким глубоким чувством горести, что главнокомандующий был приметно тронут.

— Не опасайтесь этого. В награду вашей неустрашимости и отличного поведения государь не откажет вам ни в чем. А как мне велено сделать о вас выправки, то я к полученным мною отзывам вашего шефа, эскадронного командира, взводного начальника и ротмистра Казимирского, приложу еще и свое донесение. Поверьте мне, что у вас не отнимут мундира, которому вы сделали столько чести.

Сказав это, генерал вежливо поклонился мне, что и было знаком, чтобы я ушла.

Вышед в залу, я увидела Нейдгардта, разговаривающего с флигель-адъютантом Зассом. Они оба подошли ко мне, и Нейдгардт сказал: «Главнокомандующий приказал мне отдать вас на руки господину Зассу, флигель-адъютанту его императорского величества. Вы поедете с ним в Петербург. Итак, позвольте пожелать вам благополучного пути». Засс взял меня за руку: «Теперь вы пойдете со мною на мою квартиру, оттуда пошлем принести ваши вещи от Нейдгардта и завтра очень рано отправимся обратно в Полоцк, потому что Буксгевден приказал, чтоб вам непременно было отдано все ваше вооружение». На другой день очень рано выехали мы из Витебска и скоро приехали в Полоцк.

Полоцк. Засс пошел к Каховскому и через час возвратился, говоря, что Каховский, к удивлению, обедает в двенадцать часов, удержал его у себя и что он должен был есть нехотя.

— Завтра мы выедем отсюда очень рано. Дуров, вам, верно, не новое вставать на рассвете?

Я сказала, что иначе никогда и не вставал, как на рассвете. Вечером пришли ко мне мои взводные сослуживцы и велели меня вызвать. Я пришла. Добрые люди! Это были взводный унтер-офицер и ментор мой, учивший меня всему, что надобно знать улану пешком и на коне.

— Прощайте, любезный наш товарищ! — говорили они, — дай бог вам счастия. Мы слышали, вы едете в Петербург, хвалите нас там. Мы вас хвалили здесь, когда шеф расспрашивал о вас, а особливо меня, — сказал ментор мой, закручивая усы свои с проседью. — Ведь я по приказу Казимирского был вашим дядькою. Шеф взял меня к себе в горницу и целый час выспрашивал все до самой малости, и я все рассказал, даже и то, как вы плакали и катались по земле, когда умер ваш Алкид.

Напоминание это заставило меня тяжело вздохнуть. Я простилась с моими сослуживцами, отдала наставнику своему годовое жалованье свое и возвратилась в залу в самом грустном расположении духа.

Наконец, мы пустились в путь к Петербургу. Коляска наша чуть двигается, мы тащимся, а не едем. На всякой станции запрягают нам лошадей по двенадцати, и все они не сто́ят двух порядочных. Они более похожи на те-

лят, нежели на лошадей, и часто, стараясь бесполезно вытащить экипаж из глубокой грязи, ложатся, наконец, сами в эту грязь.

Почти на всякой станции случается с нами что-нибудь смешное. На одной подали нам к чаю окровавленный сахар.

— Что это значит? — спросил Засс, отталкивая сахарницу.

Смотритель, ожидавший в другой горнице, какое действие произведет этот сахар, выступил при этом вопросе и с какою-то торжественностию сказал:

— Дочь моя колола сахар, ранила себе руку, и это ее кровь!

— Возьми же, глупец, свою кровь и вели подать чистого сахару, — сказал Засс, отворачиваясь с омерзением.

Я от всего сердца смеялась новому способу доказывать усердие свое в угощении. Еще на одной станции Засс покричал на смотрителя за то, что он был пьян, говорил грубости и не хотел дать лошадей. Услыша громкий разговор, жена смотрителя подскочила к Зассу с кулаками и, прыгая от злости, кричала визгливым голосом: «Что за бессудная земля? Смеют бранить смотрителя!» Оглушенный Засс не знал, как отвязаться от сатаны, и вздумал сдавить ее за нос, это средство было успешно; *Мегера* с визгом убежала, а за нею и смотритель. Полчаса ждали мы лошадей, но видя, что их не дают, расположились тут пить чай. Засс послал меня парламентером к смотрительше вести переговоры о сливках. Неприятель наш был рад замирению, и я возвратилась с полною чашкою сливок. Через час привели лошадей, и мы очень дружелюбно расстались с проспавшимся смотрителем и его женою, которая желая, мне особливо, счастливой дороги, закрывала нос свой передником.

Война 1812 года

Перешед Москву, мы остановились верстах в двух или трех от нее; армия пошла дальше.

Через несколько времени древняя столица наша запылала во многих местах! Французы вовсе нерасчетливы. Зачем они жгут наш прекрасный город? Свои великолепные квартиры, так дорого ими нанятые? Странные люди!.. Мы все с сожалением смотрели, как пожар усиливался и как почти половина неба покрылась ярким заревом. Взятие Москвы привело нас в какое-то недоумение; солдаты как будто испуганы; иногда вырываются у них слова: *лучше уж бы всем лечь мертвыми, чем отдавать Москву!* Разумеется, они говорят это друг другу вполголоса, а в таком случае офицер не обязан этого слышать.

Полк наш примыкал левым флангом к какой-то деревушке; в ней не было уже ни одного человека. Я спросила ротмистра, долго ли мы тут будем стоять?

— Кто ж это знает,— отвечал он,— огней не велено разводить, так видно, надобно быть наготове каждую минуту. А тебе на что это знать?

— Так. Я пошел бы в крайний дом лечь спать ненадолго, у меня очень болит нога.

— Поди. Пусть унтер-офицер постоит у избы с твоей лошадью: когда полк тронется с места, то он разбудит тебя.

Я проворно побежала в дом, вошла в избу и, видя, что пол и лавки выломаны, не нашла лучшего места, как печь. Я влезла на нее и легла с краю. Печь была теп-

ла, видно, ее недавно топили. В избе было довольно темно от притворенных ставень. Теплота и темнота! Какие два благословенные удобства! — Я тотчас заснула. Думаю, что спала более получаса, потому что скоро проснулась от повторенных восклицаний: «Ваше благородие! Ваше благородие! Полк ушел! Неприятель в деревне!!» Проснувшись, я спешила встать и, стараясь опереться левою рукой, почувствовала под нею что-то мягкое. Я обернулась посмотреть, и как было темно, то наклонилась очень близко к предмету, в который уперлась рукою. Это был мертвый человек и, кажется, ополчанин. Не знаю, легла ли бы я на печь, если б увидела прежде этого соседа, но теперь я и не подумала испугаться. Каких странных встреч не случится в жизни, особливо в теперешней войне! Оставя безмолвного обитателя хижины спать сном беспробудным, я вышла на улицу; французы были уже в деревне и стреляли кой на кого из наших. Я поспешила сесть на свою лошадь и рысью догнала полк.

Штакельберг послал меня за сеном для полковых лошадей, и я, волею или неволею, но должна была ехать на лошади, упрямой, ленивой и безобразной, как осел. Пустя вперед свою команду, ехала я за нею, размышляя о неприятном положении своем. Стыд и беда с таким конем ожидают меня в первом деле: на неприятеля он не пойдет, от неприятеля не унесет...

— Вот здесь наши заводные! — сказал один из улан своему товарищу, указывая на ближнее селение.

Оно было в версте от дороги, по которой я вела свой отряд. Мысль, что могу достать свою лошадь, осветила мой ум, успокоила и разогнала все мрачные помыслы; я поручила унтер-офицеру вести шагом отряд к ближнему лесу, а сама не поскакала уже, но потряслась, как могла скорее к селу, где надеялась найти наших заводных.

Судьба ожесточилась против меня: я не нашла здесь своей лошади. Здесь не нашего полка заводные; уланские далее еще, верстах в трех от селения.

Несчастный голодный осел, на котором я сижу и терзаюсь досадою, какую только можно себе представить, не хочет идти иначе как шагом и то с величайшею ленью. Мучительнее этого состояния я еще не испытывала. Если б мне отдали на выбор: быть ли еще на двух

Бородинских сражениях, или два дня только иметь под собою эту верховую лошадь, сию минуту избираю первое, не колеблясь ни секунды.

Я отыскала и взяла своего Зеланта, но как дорого мне это стоило! Решась во что бы ни стало избавиться неприятного положения своего, принудила я шпорами и саблею бедную лошадь довезти меня рысью до второго селения, и тут, к восхищению моему, первый предмет, который мне представился, был Зелант. Пересев на него, полетела я как стрела к тому лесу, куда велела ехать своему отряду. Я надеялась отыскать его по следам, но множество дорог, идущих вправо, влево, поперек, и на всех бесчисленное множество конских следов привели меня в недоумение. Проехав версты три наудачу по дороге, которая показалась мне шире других, приехала я к господскому дому прекрасной архитектуры. Цветник перед крыльцом, ведущим в сад, был весь истоптан лошадьми; по аллеям тянулись богатые кружева и блонды: следы грабительства видны были везде. Не встречая тут ни одного человека и не зная, как отыскать свою команду, решилась я возвратиться в полк. Штакельберг, увидя меня одну, спросил: «Где ж ваша команда?» Я откровенно рассказала, что, желая взять свою лошадь в ближнем селении, велела отряду идти шагом к лесу и там дождаться меня, но что, возвратясь, я не нашла их на назначенном месте и теперь не знаю, где они. «Как смели вы это сделать! — закричал Штакельберг. — Как смели оставить свою команду! Ни на секунду не должны вы были отлучиться от нее. Теперь она пропала: лес этот занят уже неприятелем. Ступайте, сударь! Сыщите мне людей, иначе я представлю на вас главнокомандующему, и вас расстреляют!».. Оглушенная этою выпалкой, поехала я опять к проклятому лесу, но там были уже неприятельские стрелки.

— Куда ты едешь, Александров? — спросил меня офицер лейб-эскадрона, находившийся в передней линии наших стрелков.

Я отвечала, что Штакельберг прогнал меня искать моих фуражиров.

— А ты ужели их потерял?

Я рассказала.

— Это, братец, пустяки, фуражиры твои, верно, прошли безопасно окольными дорогами и теперь должны

быть в селении, занятом заводными лошадьми нашего арьергарда. Ступай туда.

Я последовала его совету и в самом деле нашла своих людей с их вьюками сена в этом селе. На вопрос: «Для чего не дожидались меня?» — сказали, что, услыша скачку и пальбу в лесу, думали, что это неприятель и, не желая вовсе быть взятыми в плен, уехали дальше, верст за восемь. Нашли там сено, навьючили им лошадей и приехали ожидать меня здесь. Я отвела их в полк, представила Штакельбергу и поехала прямо к главнокомандующему.

Чувствуя себя жестоко оскорбленною угрозой Штакельберга, что меня расстреляют, я не хотела более оставаться под его начальством: не сходя с лошади, написала я карандашом к Подъямпольскому: «Уведомьте полковника Штакельберга, что, не имея охоты быть расстрелянным, я уезжаю к главнокомандующему, при котором постараюсь остаться в качестве его ординарца».

Приехав в главную квартиру, увидела я на одних воротах написанные мелом слова: «Главнокомандующему». Я встала с лошади и, вошед в сени, встретила какого-то адъютанта.

— Главнокомандующий здесь? — спросила я.

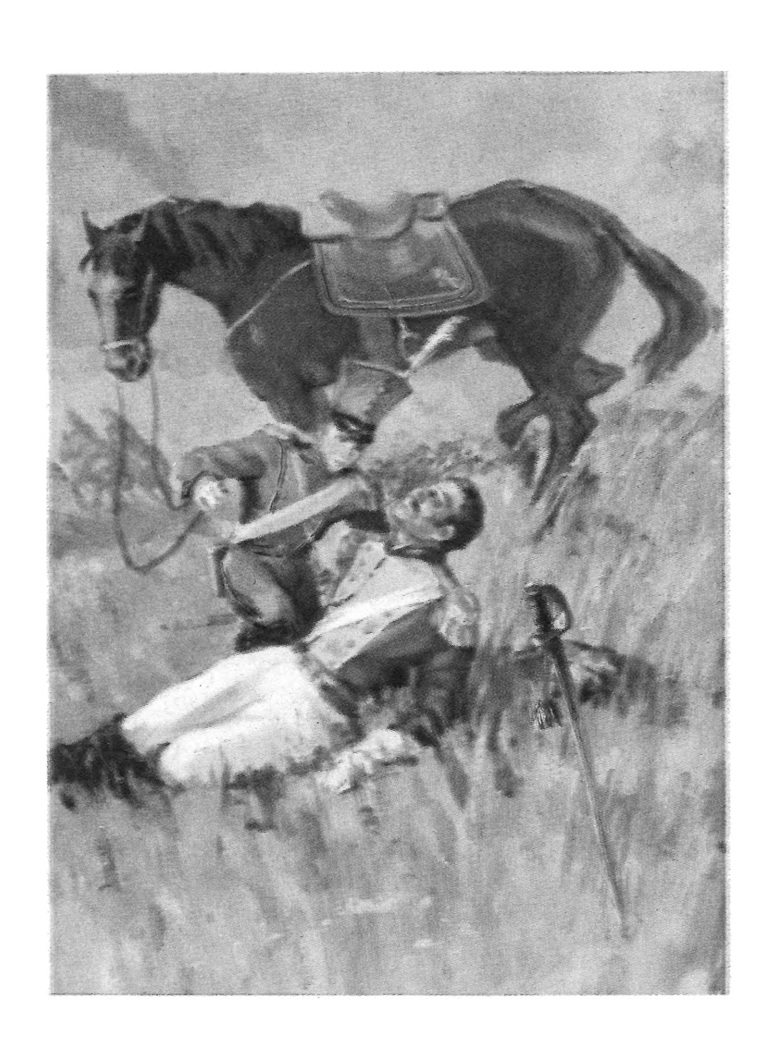
— Здесь, — отвечал он вежливым и ласковым тоном. Но в ту же минуту вид и голос адъютанта изменились, когда я сказала, что ищу квартиру Кутузова. «Не знаю, здесь нет, спросите там», — сказал он отрывисто, не глядя на меня, и тотчас ушел. Я пошла далее и опять увидела на воротах: «Главнокомандующему». На этот раз я была уже там, где хотела быть: в передней горнице находилось несколько адъютантов. Я подошла к тому, чье лицо показалось мне лучше других. Это был Дишканец.

— Доложите обо мне главнокомандующему, я имею надобность до него.

— Какую? Вы можете объявить ее через меня.

— Не могу, мне надобно, чтобы я говорил с ним сам и без свидетелей, не откажите мне в этом снисхождении, — прибавила я, вежливо кланяясь Дишканцу.

Он тотчас пошел в комнату Кутузова и через минуту, отворяя дверь, сказал мне: «Пожалуйте» и с этим вместе сам вышел опять в переднюю. Я вошла и не только с должным уважением, но даже с чувством благого-



К стр. 41

вения поклонилась седому герою, маститому старцу, великому полководцу.

— Что тебе надобно, друг мой? — спросил Кутузов, смотря на меня пристально

— Я желал бы иметь счастие быть вашим ординарцем во все продолжение кампании и приехал просить вас об этой милости.

— Какая ж причина такой необыкновенной просьбы, а еще более способа, каким предлагаете ее?

Я рассказала, что заставило меня принять эту решимость и, увлекаясь воспоминанием незаслуженного оскорбления, говорила с чувством, жаром и в смелых выражениях; между прочим, я сказала, что родясь и выросши в лагере, люблю военную службу со дня моего рождения, что посвятила ей жизнь мою навсегда, что готова пролить всю кровь свою, защищая пользы государя, которого чту, как бога, и что, имея такой образ мыслей и репутацию храброго офицера, я не заслуживаю быть угрожаема смертию... Я остановилась, как от полноты чувств, так и от некоторого замешательства: я заметила, что при слове «храброго офицера» на лице главнокомандующего показалась легкая усмешка. Это заставило меня покраснеть. Я угадала мысль его и, чтобы оправдаться, решилась сказать все.

— В Прусскую кампанию, ваше высокопревосходительство, все мои начальники так много и так единодушно хвалили смелость мою, и даже сам Буксгевден назвал ее беспримерною, что после всего этого я считаю себя вправе назваться храбрым, не опасаясь быть сочтен за самохвала.

— В Прусскую кампанию! Разве вы служили тогда? Который вам год? Я полагал, что вы не старее шестнадцати лет.

Я сказала, что мне двадцать третий год и что в Прусскую кампанию я служила в Коннопольском полку.

— Как ваша фамилия? — спросил поспешно главнокомандующий.

— Александров!

Кутузов встал и обнял меня, говоря:

— Как я рад, что имею, наконец, удовольствие узнать вас лично! Я давно уже слышал об вас. Останьтесь у меня, если вам угодно. Мне очень приятно будет доставить вам некоторое отдохновение от тягости тру-

дов военных. Что ж касается до угрозы расстрелять вас, — прибавил Кутузов, усмехаясь, — то вы напрасно приняли ее так близко к сердцу. Это были пустые слова, сказанные в досаде. Теперь подите к дежурному генералу Коновницыну и скажите ему, что вы у меня бессменным ординарцем.

Я пошла было, но он опять позвал меня:

— Вы хромаете? Отчего это?

Я сказала, что в сражении под Бородиным получила контузию от ядра.

— Контузию от ядра! И вы не лечитесь! Сейчас скажите доктору, чтобы осмотрел вашу ногу.

Я отвечала, что контузия была очень легкая и что нога моя почти не болит. Говоря это, я лгала: нога моя болела жестоко и была вся багровая.

Теперь мы живем в Красной Пахре́, в доме Салтыкова. Нам дали какой-то дощатый шалаш, в котором все мы (то есть ординарцы) жмемся и дрожим от холода. Здесь я нашла Шлеина, бывшего вместе со мною в Киеве на ординарцах у Милорадовича.

Лихорадка изнуряет меня. Я дрожу как осиновый лист... Меня посылают двадцать раз на день в разные места. На беду мою, Коновницын вспомнил, что я, будучи у него на ординарцах, оказалась отличнейшим изо всех тогда бывших при нем. «А, здравствуйте, старый знакомый», — сказал он, увидя меня на крыльце дома, занимаемого главнокомандующим. И с того дня не было уже мне покоя. Куда только нужно было послать скорее, Коновницын кричал: «Уланского ординарца ко мне!» И бедный уланский ординарец носился, как бледный вампир, от одного полка к другому, а иногда и от одного крыла армии к другому.

Наконец, Кутузов велел позвать меня.

— Ну что,— сказал он, взяв меня за руку, как только я вошла, — покойнее ли у меня, нежели в полку? Отдохнул ли ты? Что твоя нога?

Я принуждена была сказать правду, что нога моя болит до нестерпимости, что от этого у меня всякий день лихорадка и что я машинально только держусь на лошади, по привычке, но что силы у меня нет и за пятилетнего ребенка.

— Поезжай домой,— сказал главнокомандующий, смотря на меня с отеческим состраданием, — ты в са-

мом деле похудел и ужасно бледен; поезжай, отдохни, вылечись и приезжай обратно.

При этом предложении сердце мое стеснилось.

— Как мне ехать домой, когда ни один человек теперь не оставляет армию! — сказала я печально.

— Что ж делать! Ты болен. Разве лучше будет, когда останешься где-нибудь в лазарете? Поезжай! Теперь мы стоим без дела, может быть, и долго еще будем стоять здесь. В таком случае успеешь застать нас на месте.

Я видела необходимость последовать совету Кутузова: ни одной недели не могла бы я долее выдерживать трудов военной жизни.

— Позволите ли, ваше высокопревосходительство, привезть с собою брата? Ему уже четырнадцать лет. Пусть он начнет военный путь свой под начальством вашим.

— Хорошо, привези, — сказал Кутузов, — я возьму его к себе и буду ему вместо отца.

Через два дня после этого разговора Кутузов опять потребовал меня: «Вот подорожная и деньги на прогоны,— сказал он, подавая то и другое,— поезжай с богом! Если в чем будешь иметь надобность, пиши прямо ко мне, я сделаю все, что от меня будет зависеть. Прощай, друг мой!» Великий полководец обнял меня с отеческою нежностью.

Лихорадка и телега трясут меня без пощады. У меня подорожная курьерская, и это причиною, что все ямщики, не слушая моих приказаний ехать тише, скачут сломя голову. Малиновые лампасы и отвороты мои столько пугают их, что они, хотя и слышат, как я говорю, садясь в повозку, «ступай рысью», но не верят ушам своим и, заставя лихих коней рвануть разом с места, не прежде остановят их, как у крыльца другой станции. Но нет худа без добра: я теперь не зябну, от мучительной тряски меня беспрерывно бросает в жар.

В Калуге пришел на почту какой-то, по-видимому, чиновник и, выждав, как никого не осталось в комнате, подступил ко мне тихо, как кошка, и еще тише спросил:

— Не позволите ли мне узнать содержание ваших депеш?

— Моих депеш! Забавно было бы, если б рассказывали курьерам, что написано в тех бумагах, с которыми они едут! Я не знаю содержания моих депеш.

— Иногда это бывает известно господам курьерам, я скромен, от меня никто ничего не узнает, — продолжал шептать искуситель с ласковою миной.

— И от меня так же. Я скромен, как и вы, — сказала я вставая, чтоб уйти от него.

— Одно слово, батюшка! Москва...

Остального я не слыхала, села в повозку и уехала. Сцены эти повторялись во многих местах и многими людьми; видно, им не новое было расспрашивать курьеров.

Казань. Я остановилась в доме благородного собрания, чтобы пообедать. Лошади были уже готовы, и обед мой приходил к концу, как вошло ко мне приказное существо с тихою поступью, прищуренными глазами и хитрою физиономией.

— Куда изволите ехать?

— В С...

— Вы прямо из армии?

— Из армии.

— Где она расположена?

— Не знаю.

— Как же это?

— Может быть, она перешла на другое место.

— А где вы оставили ее?

— На поле между Смоленском и Москвою.

— Говорят, Москва взята, правда ли это?

— Неправда!

— Как можно! Вы не хотите сказать. Все говорят, что взята, и это верно!

— А когда верно, так чего ж вам больше?

— Стало, вы соглашаетесь, что слух этот справедлив?

— Не соглашаюсь! Прощайте, мне некогда ни рассказывать, ни слушать вздору о Москве. Я хотела было ехать.

— Не угодно ли вам побывать у губернатора? Он просил вас к себе, — сказал хитрец совсем уже другим тоном.

— Вам надобно было сказать мне это сначала, не забавляясь расспросами, а теперь я вам не верю

и к тому же я курьер и заезжать ни к кому не обязан.

Чиновник опрометью бросился от меня и через две минуты опять явился: «Его превосходительство убедительно просит вас пожаловать к нему. Он прислал за вами свой экипаж». Я тотчас поехала к губернатору. Почтенный Мансуров начал разговор свой благодарностью за мое благоразумие в отношении к нескромным расспросам. «Мне очень приятно было, — говорил он, — слышать от своего чиновника, с какою осторожностью вы отвечали ему. Я много обязан вам за это. Здесь наделал было мне хлопот один негодяй, вырвавшийся из армии: столько наговорил вздору и так растревожил умы жителей, что я принужден был посадить его под караул. Теперь прошу вас быть со мною откровенным: Москва взята?» Я медлила ответом: губернатора смешно было бы обманывать, но тут стоял еще какой-то чиновник, и мне не хотелось при нем отвечать на такой важный вопрос. Губернатор угадал мысль мою: «Это мой искренний друг, это второй я! Прошу вас не скрывать от меня истины. Меня удостаивает доверенностью и сам государь. Сверх того, мне надобно знать об участи Москвы и для того, чтобы взять свои меры в рассуждении города; буйные татары собираются толпами и выжидают случая наделать неистовств. Я должен это упредить. Итак, Москва точно взята?».

— Могу вас уверить, ваше превосходительство, что не взята, но отдана добровольно, и это последний триумф неприятеля нашего в земле Русской: теперь гибель его неизбежна!

— На чем же вы основываете ваши догадки? — спросил губернатор, на лице которого при словах: *«Москва отдана»* изобразилось прискорбие и испуг.

— Это не догадки, ваше превосходительство, но совершенная уверенность: за гибель врагов наших порукою нам спокойствие и веселый вид всех наших генералов и самого главнокомандующего. Ненатурально, чтоб, допустя неприятеля к сердцу России и отдав ему древнюю столицу нашу, могли они сохранять спокойствие духа, не быв уверенными в скорой и неизбежной погибели неприятеля. Сообразите все это, ваше превосходительство, и вы сами согласитесь со мною.

Губернатор долго еще разговаривал со мною, расспрашивая о действиях и теперешнем положении армии и, наконец, прощаясь, наговорил мне много лестного и в заключение сказал, что Россия не дошла бы до крайности отдать Москву, если б в армии были все такие офицеры, как я. Подобная похвала и от такого человека, как Мансуров, вскружила бы голову хоть кому, а мне и подавно. Мне, которую ожидает тьма толков, заключений, предположений и клевет, как только пол мой откроется! Ах, как необходимо будет мне тогда свидетельство людей, подобных Мансурову, Ермолову и Коновницыну!..

РАССКАЗ ТАТАРИНА

За Казанью начинаются леса обширные, густые, дремучие и непроходимые. Зимою большая дорога, идущая через них, так же узка, как и всякая проселочная; последние еще имеют преимущество перед первою, потому что ими можно иногда ближе проехать, и всегда уже дешевле. Последнее обстоятельство для меня было также не маловажно, и я со второй станции поворотила с большой дороги на маленькую, которая вела и час от часу глубже заходила в чащу соснового леса. Наступила ночь. В дремучем лесу ничто не шелохнуло, и только раздавались восклицания моего ямщика и заунывные песни старого татарина, ехавшего вместе со мною от самой Казани. Он выпросил у меня позволение сидеть на облучке повозки и за то прислуживал мне в дороге. *«Гайда, гайда, Хамитулла!»* — пел он протяжным и грустным напевом своего народа; это был припев какой-то неокончаемой песни. Устав слушать одно и то же целый час, я спросила: «Что это за Хамитулла, Якуб, которым ты прожужжал мне уши?». Якуб сердито повернулся на облучке.

— Что за Хамитулла? Хамитулла был первый красавец из всего рода нашего!

— Из твоей семьи, Якуб, или из всего татарского племени?

Якуб не отвечал. Я думала, он осердился по обыкновению, но седой татарин мрачно смотрел в глубь леса и вздыхал. Я оставила его думать, как видно, о Хамитулле и хотела, закрыв голову шинелью, лечь спать. Вдруг Якуб оборотился ко мне совсем:

— Барин! Мы едем теперь через тот самый лес, где так долго крылся и скитался Хамитулла!.. Где он наводил ужас на путников одним только именем своим и мнимыми разбоями!.. Где его искали, преследовали и, наконец, поймали!.. Бедный Хамитулла! Видя его в цепях, я не верил глазам своим. Он! Добрый и честный человек, примерный сын, брат, друг!.. В цепях за преступление!.. За разбой!.. Как бы вы думали, барин, какое было это преступление и какого рода разбой?.. Хотите знать?

— Хорошо, Якуб, расскажи.

— Я люблю говорить о нем; дивлюсь ему и жалею о бедственной судьбе его со всем сердоболием отца... Да, я любил Хамитуллу, как сына!

— Ему было семнадцать лет, когда я, заплатив калым за вторую жену свою, переехал жить к тестю в деревню... чтоб помогать ему в трудах. Дом отца Хамитуллы был подле нашего. Мне было тогда сорок два года от роду, детей у меня не было, и я всей душою привязался к бравому юноше, который тоже любил и меня, как отца. Он был не только что прекраснейший из молодых людей наших, но и отличнейший стрелок и отважнейший наездник. Иногда, усмирив сердитого неезженного коня и подводя его ко мне, он говорил: «Посмотри, Якуб, только на таких люблю ездить! Что в этих кротких! А если б не было и вовсе на свете смирных лошадей!..» Я смеялся.

— За что ж ты хочешь, Хамитулла, чтоб мы все сломили себе шеи, садясь на бешеных лошадей? Хорошо тебе, ты молод, силен, славный наездник, а я, а старик отец твой? Что бы стали мы делать?

— Правда! Не подумал я об этом...

И шалун бегом уводил своего любимца на траву.

Но настало время, когда ни добрый конь, ни тугой лук не веселили более Хамитуллу. Огненные кони его, разметав гриву, летали по горам и долам, а Хамитулла и не думал оседлать которого-нибудь из них; ему приятно было оставаться дома и изредка проходить мимо окна Зугры, дочери одного из богатейших татар деревни. Зугра была смуглая, статная, высокая татарочка; разумеется, с черными глазами и бровями, хотя эта последняя прелесть и не диковина у татарок: они почти все черноглазы. Но чернота глаз и бровей Зугры была

как-то пленительно черна! В них было что-то, отчего жестоко болело сердце Хамитуллы...

— Как же, Якуб, удалось твоему Хамитулле видеть свою любезную? Ведь у вас татарки прячутся от мужчин.

— Но только не от тех, кому хотят понравиться; тут они очень искусно умеют дать себя увидеть. Довольно, что Хамитулла умел отличить прелестную черноту глаз и бровей своей Зугры от такой же точно черноты двадцати пар других глаз и бровей. «У нее глаза горят, а брови лоснятся! Клянусь тебе, Якуб, клянусь кораном!» — повторял предо мною влюбленный. «В уме ли ты, Хамитулла! Разве нет у тебя товарищей одних с тобою лет, что ты приходишь говорить мне такой вздор и еще клясться в нем кораном?» «Товарищам! Рассказать товарищам о Зугре? Ах, они слишком хорошо знают об ней, и я верно уже не буду лить масло на огонь». «Ну, чего же ты хочешь? Просил ли ты отца дать калым за нее?» «Просил». «Что ж он сказал?» «Не по деньгам, не в состоянии!.. Отец Зугры хочет такой калым, какого у нас в деревне никто дать не может, а я и подавно...». «В таком случае нечего делать, Хамитулла. Будь благоразумен, старайся забыть, победи себя. Займись чем-нибудь, торгом, например. Поезжай в Казань». «Да и надобно будет ехать,— говорил уныло мой молодой друг,— поеду. Отец посылает меня продавать халаты, я пробуду там до весны». «А как скоро ты отправляешься?» «Через неделю». Я радовался этому, полагая, что в Казани, прекрасном и многолюдном городе, среди забот, забав и разнообразия предметов, молодой татарин не будеть иметь времени заниматься своею страстию. Худо я знал Хамитуллу!

— Он поехал, писал к отцу часто, давал подробный отчет в своей продаже, присылал вырученные деньги, не торопил своим возвращением и не упоминал о Зугре ни слова. Я радовался, думал, что отсутствие произвело свое действие, что юноша успокоился, но худо я знал Хамитуллу!

— Между тем, пока он торговал, тосковал, отчаивался, надеялся и ждал первых цветов весны, чтоб возвратиться под родимый кров, калымы за прекрасную Зугру отовсюду предлагались старому Абурашиду, отцу ее. По мере умножения цены их умножалось и корыстолю-

бие старого татарина. Наконец, приехал из отдаленного городка богатый купец и предложил калым, против которого нельзя уже было устоять Абурашиду — Зугру помолвили и отдали. Вечером того дня, в который Зугра кропила горькими слезами великолепную перевязь на груди своей — подарок молодого мужа, вечером этого самого дня приехал Хамитулла.

— Никто не видал на лице молодого татарина никакого признака печали, не только бешенства или отчаяния, как того можно было ожидать, судя по первому движению, с каким услышал он о свадьбе Зугры. Я первый встретился с ним случайно, при въезде его в деревню и, полагая, что от меня легче ему будет услышать такую убийственную весть, сказал ее со всею ласкою и утешениями отца. С первых слов Хамитулла побледнел, как полотно, и задрожал всеми членами. Судорожно схватился он за топор, лежавший у него на телеге, но в ту ж минуту пришел в себя и, к неизъяснимому удивлению моему, дослушал совершенно холодно всю историю сватовства, слез, сопротивления и, наконец, свадьбы бедной его Зугры. Я радовался этому равнодушию и благословлял переменчивость сердца человеческого. Но, ах, барин, худо я знал Хамитуллу!

— В ночь Зугра исчезла с постели своего мужа, а Хамитулла с нар своего отца; их обоих не нашли нигде. Муж Зугры едва не сошел с ума; он поехал в город, подал просьбу. Приехал суд, начались розыски, поиски. Наконец, открылось, что Хамитулла живет с своею Зугрою в дремучем волоке, имеющем верст более сорока пространства,— вот в этом самом, через который мы теперь едем. Ну, была ли какая возможность найти его тут, а еще более поймать? Я от всей души радовался этому обстоятельству, оно успокаивало мои опасения о Хамитулле на настоящее время. Но что будет далее? Куда он денется зимою? Что он будет есть, чем одеваться? Как жить в лесу в это время года, столь ужасное в нашей стороне!.. Между тем отец и муж Зугры разъезжали каждый день в лесу, сопровождаемые конвоем всех своих родственников. Земская полиция тоже отыскивала Хамитуллу, который, как носился слух, то там, то сям отнимал у прохожих хлеб, а иногда и деньги, не делая, впрочем, ни малейшего вреда никому. В этих розысках и слухах прошло почти все лето. Наступила

осень. Молва огласила уже Хамитуллу разбойником, хотя он даже не толкнул рукою никого, и если брал что у них, так это была всегда такая малость, которой могло достать только на покупку хлеба. Но вот земская полиция ищет с понятыми и со всею ревностью деятельных чиновников, ищет разбойника Хамитуллу! В одну дождливую ночь, когда месяц не светил уже и было так темно, что и в двух шагах от себя нельзя было ничего рассмотреть, я сидел долее обыкновенного. Мне что-то было грустно, мысли, самые горестные, носились в уме моем и сменяли одна другую — все они были о Хамитулле. Близка развязка печальной повести моего любимца, зима все откроет и все кончит. Ужасно! Наконец, я лег на постель, глаза мои уже смыкались, кажется, будто я заснул, но тихий стук у окна и шепот знакомого голоса заставили меня с ужасом и невольною радостью быстро подняться с постели. «Хамитулла!» — вскрикнул я со слезами и более не мог ничего сказать: слова замерли; я мог только жать трепещущую руку моего бедного друга. Я не мог позвать его в избу, не мог предложить крова, тепла, пищи. Сердце мое хотело разорваться! «Хамитулла, беги! Деревня полна понятых; тебя ищет сам исправник! Беги скорее!!» «Выйди ко мне, Якуб,— сказал Хамитулла едва слышным голосом,— выйди ко мне, пройдем со мною за деревню, туда к лесу. Мне надо многое тебе рассказать». Я вышел, и мы, взявшись за руки, пошли из деревни в поле. В версте от нас чернелся лес, мы укрылись туда. Я хотел было остановиться. «Нет, отец, пойдем дальше. Я имею нужду в тебе. Ты сделаешь мне услугу, может, уже последнюю!..» Не имея сил говорить, шел я безмолвно, куда вел меня Хамитулла. Ливный дождь хлестал меня без пощады по лицу и голове — второпях я выскочил без шапки. Мы шли более полчаса самыми скорыми шагами. «Вот,— сказал Хамитулла, вдруг останавливаясь и останавливая меня,— вот, Якуб, моя бедная Зугра!..». Он кинулся к какому-то бугорку, похожему на копну сена или кучу соломы. Я подошел за ним и увидел, что Хамитулла вынимает из-под наваленных сосновых ветвей женщину. Это была его Зугра! С раздирающими душу стонами прижимал ее Хамитулла к сердцу своему. «Зугра! Моя Зугра! Мое единственное благо на земле! Мы должны расстаться!..» Он упал в отчаянии на тра-

ву и обнимал колена плачущей Зугры... Она села к нему, положила голову его к себе на грудь, обняла, прижала уста свои к бледному лицу изнемогающего юноши и, страстно целуя его, обливала горчайшими слезами... Я плакал навзрыд. Ах, барин! Какие чувства скрываются иногда под грубою наружностью нашею и в глубине диких непроходимых лесов холодного края нашего! Когда первые порывы жесточайшего из всех страданий любви — страдания разлуки — несколько утихли, Зугра стала говорить: «Покоримся на время судьбе, мой милый друг. Расстанемся, пока ты сыщешь место, где б мы могли опять быть вместе; я пойду к отцу, но не пойду к мужу, ни за что не пойду! Он не муж мне! Моего согласия не спрашивали. Пусть отец отдаст калым. Я твоя, вечно твоя! Другого мужа у меня не было». «Ах, Зугра, Зугра, мы расстаемся навсегда!» — говорил уныло молодой татарин, но, постепенно приходя в бешенство от мысли о вечной разлуке, жестоко стал бить себя в грудь, крича отчаянным голосом: «Зугра! Я тебя более не увижу! Убей меня, Якуб! Убей! На что мне жизнь без Зугры!..» Между тем заря стала заниматься... Я старался привесть в рассудок Хамитуллу и, указывая ему на светлеющий восток, говорил, что если он не хочет быть схвачен понятыми, то чтоб немедленно решался на что-нибудь... «Я еще не знаю, зачем ты привел меня в этот лес. Ты говорил о какой-то услуге: что я могу для тебя сделать? Вот тебе сердце и рука отца; располагай ими, требуй от меня всего, что может умягчить жестокость твоей участи...» Хамитулла встал, обнял снова Зугру и долго держал ее в объятиях, судорожно прижимая к груди своей... Наконец, отдавая ее мне и побледнев, как уже и мертвому нельзя более побледнеть, сказал погасающим голосом: «Возьми ее, Якуб! Укрой на первых порах от злобы отца, мужа, от насмешек злых людей. Возьми мою Зугру... Зугра, Зугра!.. Якуб, для чего ты не хочешь убить меня!..» Опасаясь новых порывов отчаяния, я схватил молодую татарку за руку и бегом, сколько позволяли то мне мои силы, бежал с нею почти до самой деревни. Она задыхалась от слез.

— Пришед домой, я отдал Зугру на руки женам своим и пошел в сборную избу узнать, что там предпринимается для поимки Хамитуллы. Мне сказали, что все

пути в лесу застановлены караулами, что сам подполковник распоряжает всем этим, что позднее время года способствует всем их маневрам, потому что облетевшие листья, оставя лес обнаженным, позволяют видеть очень далеко в чащу. Несчастный Хамитулла будет пойман, неизбежно пойман!.. Возвратясь домой, я нашел Зугру спящую. Бедная, была худа и бледна. Она беспрестанно вздрагивала и, всхлипывая, произносила невнятно: *«Хамитулла! О, Хамитулла!..»*.

— Долго будет рассказывать, барин, о всем, что я узнал от Зугры: как они жили в лесу, как были неизъяснимо счастливы и как, наконец, смертная тоска и предчувствие бед теснили грудь их при виде облетающих листьев. Лес, с каждым днем более обнажающийся, начинал становиться для них не убежищем, но прозрачною темницей, и вот Хамитулла решился поручить Зугру мне и бежать куда-нибудь далее до благоприятнейшего времени. Но он не мог успеть в этом: земская полиция, под начальством своего исправника (военного подполковника), приняла такие деятельные меры, что через несколько дней беспрерывного преследования и поисков бедный друг мой, мужественный, храбрый Хамитулла, несмотря на геройское сопротивление, был схвачен, закован в цепи, отвезен в город и посажен в тюрьму. Его судили, и... Но нет, я уже не могу более говорить! Воспоминание это растравило опять давнюю рану сердца моего. Неповинен он был в крови человеческой. Однако ж с ним поступили, как с душегубцем. Главным преступлением поставлялось ему то, что в стычке с понятыми он ранил самого исправника и оставил его замертво распростертого на дороге. Вот вся кровь, которую пролил Хамитулла в продолжение всего бедственного скитания своего по лесам...

Татарин закрыл лицо руками и вздыхал или, лучше сказать, стонал, наклоня голову почти до колен... Дав время утихнуть этому порыву скорби, я спросила:

— Что сделалось с Зугрою?

— Зугру взял отец обратно. Она грозила умертвить себя, если ее отдадут к мужу. Ее красота, несчастная любовь, безмолвная горесть, безотрадные слезы делали ее для всех предметом живейшего участия, но она была мертва для всего, исключая воспоминаний о Хамитулле.

Днем и ночью плакала о нем, сидя за своею занавеской, и это она сложила песню, которую вы слышали от меня. В ней она представляет счастливое время любви их в дремучем волоке, их опасения близкой разлуки, страх при раздающихся голосах понятых, отыскивающих по лесу следов ее милого... и, наконец, последнее расставание! Вся деревня поет у нас эту песню.

— Что же значит припев: *«Гайда, гайда, Хамитулла!»*

— *«Гайда»* значит спеши или иди, или пойдем, смотря по тому, как придется это слово.

Якуб замолчал.

Волок, дремучий волок, в твоей-то чаще непроходимой, жилище лютых зверей, горела любовь, какой нельзя выразить словами! Хамитуллы уже давно нет, но еще раздается звук имени его в тех местах, где он был так счастлив. Где он любил и был любим беспримерно! Сколько раз эхо этого леса повторяло имя его, произнесенное то шепотом любви, то грозным голосом сыщика, то, наконец, заунывным пением молодой татарки, бедной осиротевшей Зугры!..

Наконец, я дома! Отец принял меня со слезами. Я сказала, что приехала к нему отогреться. Батюшка плакал и смеялся, рассматривая шинель мою, не имеющую никакого уже цвета, простреленную, подожженную и прожженную до дыр. Я отдала ее Наталье, которая говорит, что сошьет себе капот из нее.

Рассказав отцу о добром расположении ко мне главнокомандующего, я убедила его отпустить со мною брата. Он согласился на эту жестокую для него разлуку, но только с условием дождаться весны; сколько я ни уверяла, что для меня это невозможно, батюшка ничего слышать не хотел. «Ты можешь ехать,— говорил он,— как только выздоровеешь, но Василия не отпущу зимой: в такие лета! В такое смутное время! Нет, нет! Ступай одна, когда хочешь. Его время не ушло, ему нет еще четырнадцати лет». Что мне делать? Предоставляю времени ознакомить батюшку с мыслию расстаться с нежно любимым сыном. Не дожидаюсь и пишу к Кутузову, «что, желая нетерпеливо возвратиться под славные знамена его, я не надеюсь иметь счастие стать

под ними вместе с братом своим, потому что старый отец не хочет отпустить от себя незрелого отрока на поле кровавых битв в такое суровое время года и убеждает меня, если можно, дождаться теплого времени, и что я теперь совсем не знаю, что мне делать».

Я получила ответ Кутузова; он пишет, *что я имею полное право исполнить волю отца; что будучи отправлена Начальником армии, я только ему одному обязана отчетом в продолжительности моего отсутствия; что он позволяет мне дождаться весны дома и что я ничего через это не потеряю в мнении людей, потому что опасности и труды я делила с моими товарищами до конца, и что неустрашимости моей сам главнокомандующий очевидный свидетель.* Письмо это было писано рукою Хитрова, зятя Кутузова. Руку его батюшка хорошо знал, потому что Хитров жил несколько времени в В... и отец имел случай переписываться с ним. Я показала письмо батюшке, и старый отец мой так тронут был милостями и вниманием ко мне знаменитого полководца, что не мог не заплакать. Я хотела было сохранить это письмо памятником доброго расположения ко мне славнейшего из героев России, но батюшка, взяв к себе эту бумагу, заставлял меня двадцать раз в день краснеть, показывая ее всем и давая каждому читать. Я принуждена была унесть это письмо тихонько и сжечь. Когда узнал отец о моем поступке, то очень оскорбился и строго выговаривал мне, укоряя в непростительном равнодушии к такому лестному вниманию первого человека в государстве. С почтительным молчанием выслушала я батюшкины упреки, но по крайней мере довольна была, что неоканчаемое чтение письма Кутузова прекратилось.

Здесь живут пять пленных французских офицеров, трое из них очень образованные люди. Уверенность их в благоразумии Наполеона делает честь собственному их благоразумию: они указывают на карте Смоленск и говорят мне: *«Monsieur Александр, франсус тут».* Я не имею духа вывесть их из счастливого заблуждения; на что мне говорить им, что безрассудные французы в западне!

Наконец, после множества отлагательств, батюшка решился отпустить брата, да и пора! Снег весь уже стаял, я горю нетерпением возвратиться к военным дей-

ствиям. Получа свободу готовиться к отъезду, я принялась за это с такою деятельностью, что в два дня все было кончено. Отец дал нам легкую двухместную коляску и своего человека до Казани, а там мы поедем уже одни. Отцу очень не хотелось отпустить брата без слуги, но я представила ему, что это могло бы иметь весьма неприятные последствия, потому что лакея ничто не удержало бы говорить все, что ему известно. Итак, решено, что мы едем одни.

■

ПОВЕСТИ

Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения

Слово «невыгоды» очень еще недостаточно, очень милостиво, в сравнении с тем злом, которого причиною бывает третие посещение.

Камень преткновения для всех действий... источник неудач... первый шаг к разочарованию... начало порчи всякого дела — третие посещение! Предпринимаю описать его последствия в предостережение людям, не имеющим, на внимание общества, других прав, как только какую-нибудь необыкновенность в жизни своей. И хотя б это было что-нибудь очень интересное, блистательное, великое даже, но если оно только одно в них, а все прочее нисколько не отвечает этому яркому лучу, то пусть они прочтут «Год жизни моей в Петербурге» и обеспечат себе успех в делах, доброе расположение знакомых, радушный прием, вежливое внимание и собственный мир души тем, что никогда, ни в какой дом не пойдут в третий раз.

Из этого исключаются искренние друзья и еще те люди, которых посещение и в триста третий раз будет казаться первым.

Прежде, нежели решилась я везти в столицу огромную тетрадь своих записок на суд и распоряжение Александра Сергеевича Пушкина, в семье моей много было планов и толкований о том, как это покажется публике, как примут, что скажут?.. Брат мой приходил в восторг от одной мысли, какое действие произведет

на публику раскрытие тайны столь необычайного происшествия, но видя, что я не разделяю его уверенности, старался ободрить и вразумить меня примером.

«Вы представьте себе,— говорил он,— что я, по какому-нибудь случаю, надел в юности женское платье и оставался в нем несколько лет, живя в кругу дам и считаясь всеми за даму. Неправда ли, что описание такого необыкновенного случая заинтересовало бы всех, и всякий очень охотно прочитал бы его. Всякому любопытно было бы знать, как я жил, что случалось со мною в этом чуждом для меня мире, как умел так подделаться к полу, которого роль взял на себя?.. Одним словом, описание этой шалости, или вынужденного преобразования, разобрали б в один месяц, сколько б я ни напечатал их... А история вашей жизни должна быть несравненно занимательнее».

Долго было бы описывать все доводы брата моего, которыми он старался передать мне свои надежды на успех, и хотя я иногда увлекалась его красноречивыми описаниями, но чаще недоверие к себе брало верх над всем, что он ни представлял мне. Я думала, что буду очень смешна, появившись в Петербург с ничтожными записками для того, чтоб их напечатать.

«Не смею подумать, Александр Сергеевич! — писала я к славному поэту.— Не смею подумать представить глазам света картину воинственной жизни моей, иначе, как под покровительством гения вашего».

«Посылаю вам несколько листков моих записок, и если вы найдете, что можно мне показать их свету, не опасаясь обвинения в дерзкой самонадеянности, то в таком случае, сделайте мне честь напечатать их в вашем «Современнике». Но если они таковы, какими кажутся мне самой, пришлите их обратно».

Я получила ответ, исполненный вежливости и похвал, и сверх этого предложение руководствовать в сем случае моею неопытностию. Такая радостная весть!.. Такое лестное одобрение от одного из первых поэтов в Европе чуть не вскружило мне головы. Мною овладело такое ж восхищение, какое испытывала еще в детстве, когда могла бегать в поле без надзора.

Теперь нерешимость моя исчезла, и я так же, как и брат мой, начала основывать кое-какие надежды на успех моих записок.

Однако ж нетерпению моему ехать в Петербург предстояло сильное препятствие: у меня не было денег для дороги. В наших местах это препятствие необоримо. Продать какую вещь? Ее оценят в грош. Занять? Забавная выдумка! Я однако ж решилась попробовать своего счастия на этом скользком и до крайности неприятном поприще.

У Мартына Задеки означены дни счастливые и несчастные, для всего, в том числе и для займов. В первый раз в жизни пожалела я, что, считая вздором выкладки мудрого астролога, не списала таблички этих дней, которую как-то нашла в туалетном ящике у покойного дяди моего. Итак, на риск — быть наказанною за неверие, отправилась я, не помню уже, в какой день генваря, к первому из наших уездных богачей, человеку довольно образованному, очень умному и до чрезвычайности вежливому.

Радушный прием, веселый и откровенный разговор, учтивость, упредительность моего будущего кредитора несколько облегчили для меня затруднительный приступ к этим проклятым словам: «одолжите мне взаймы вот столько-то», и я сказала их без большой тревоги духа.

— На что вам деньги?

— На дорогу; я хочу ехать в Петербург.

— В Петербург? Так далеко... Зачем это?

— Имею надобность.

— Э, полноте! Какая надобность! Живите с нами.

— Я право, не шучу. Н *** Ив ***, мне в самом деле надобно ехать, и чем скорее, тем лучше.

— Да что вы так вдруг вздумали?

Полагая, что вопрос этот приведет дело к желаемому концу, я рассказала, какого рода моя надобность в Петербурге, и показала письмо Пушкина, которое, на всякий случай, взяла с собою вместо талисмана.

Богатый, вежливый хозяин мой прочел письмо, восхитился моим счастием, похвалил мое намерение издать записки: «особливо,— повторял он несколько раз,— особливо, если они будут изданы Пушкиным. Это обессмертит ваше имя!».

— Итак, я могу надеяться, что вы исполните мою просьбу?

— Нет, Александр Андреевич, извините! Душевно бы желал быть вам полезным, но никак не могу.

Слово это от человека, у которого всегда наготове несколько десятков тысяч лежат в доме, показалось мне так смешно, что я не могла удержать невольной усмешки.

— Чему вы смеетесь?

— Вашему «не могу». К чему оно? Не лучше ль вместо его сказать: «не хочу». Это, я думаю, будет справедливее?

— Правда.

— Это дело другое. Но для чего ж вы не хотите? Разве думаете, что я не отдам вам?

— Думаю.

— Против этого сказать нечего. Всякий властен думать, как ему угодно... простите, Н *** Ив ***.

— Прощайте, почтеннейший Александр Андреевич!.. Сделайте милость, жалуйте ко мне чаще, вы совсем забыли старика. Не угодно ли сегодня на вечерок? У меня будет много гостей.

— Постараюсь быть в числе их, простите.

— Простите! Ожидаю.

Я не слишком печалилась об этой неудаче! Суровость зимы, ее лютые, тридцатиградусные морозы охладили несколько рвение мое лететь в Петербург. Мне казалось благоразумнее будет дождаться весны.

Чрез месяц после неудачной попытки занять денег у богатого К**ва, приехал в наш город один из прежних знакомых моего отца, человек очень добрый, хлебосольный и довольно зажиточный. Я увиделась с ним у одного из наших чиновников.

— Как, вы еще здесь, Александр Андреевич? У нас прошел слух, что вы давно уже в Петербурге.

— Я думаю ехать весною.

— Напрасно! Зимой езда самая лучшая: покойная и скорая, в десять дней вы будете на месте. Я советовал бы ехать теперь.

— Теперь у меня нет столько денег, чтоб доехать.

— А весною разве будут?

— Думаю, что будут. Я надеюсь, что Пушкин пришлет за отрывок, который я продал ему в его журнал.

— Чтоб ожидание денег от Александра Сергеевича не останавливало пути вашего, предлагаю вам взять у меня сколько вам будет нужно для дороги, а мне дайте доверенность получать вашу пенсию.

— Очень охотно! Вы обязали меня выше всякого выражения.

— Вам сколько надобно?

— Тысячу рублей.

— Очень хорошо. Здесь нет со мною такой суммы, но я пришлю вам, как только приеду домой. Будьте уверены, что слово мое неколебимо, как гранитная скала.

Старый знакомец уехал. Через три недели я написала к нему, что если он расположен дать мне обещанную тысячу, то чтоб сделал одолжение, прислал ее теперь же, потому что мне давно уже пора ехать.

На это письмо ответа не было, через неделю я написала другое, этого ж содержания, на которое и получила ответ, что «мои намеки и переписка со мною до того наскучили, что желают уже прекращения ее!»

Расхохотавшись от души такому нежданному потрясению гранитной скалы — неколебимого слова старого знакомца и рассудя, что грубость его не заслуживает ни досады, ни ответа, я приняла опять первое свое намерение дождаться весны.

Настала и она. Смягчился грозный север, поля покрылись густою зеленью, оделись леса, дружно зашумели, заговорили. Величественная Кама разлилась, как море, и вот природа из угрюмой седой старухи сделалась молодою красавицею.

Теперь, видно, в дорогу, а денег все-таки нет!.. Наконец сестра отдала мне все свое богатство, состоявшее в восьмистах рублях ассигнациями, и я стала поспешно сбираться в свой дальний путь, помышляя о справедливости смысла одной басни Крылова, где он описывает, что маленькие птички очень всхлопотались, услышав крестьянина... Ну да бог с ними... Я думаю, эту басню всякой знает.

— Поезжайте без подорожной,— говорят мне родные,— с нею у вас выйдет много денег; надобно заплатить пошлинные ассигнациями, прогоны ассигнациями, от Москвы до Петербурга — вдвое! Это ужас, сколько вы издержите! Не берите, бог с нею! Вольные повезут дешевле, и плата серебром.

Я последовала этому необдуманному совету, не сообразя того, что еду в самую ту пору, в которую начинаются полевые работы у крестьян.

Почти всегда и во всякой невзгоде нашей бываем мы виноваты сами, хотя никогда не признаемся в этом. С подорожной я заплатила бы от Казани до Петербурга не более трехсот рублей, без нее я издержала ровно шестьсот.

Вольные ямщики очень подробно вычисляли, чего бы мне стоило проехать на почтовых станцию, и требовали с меня гораздо более.

Несколько станций пробовала я брать лошадей почтовых, и меня очень забавляли кривлянья и миганья с таинственным видом некоторых смотрителей, приведенных в восторг тем, что к ним прикатил без подорожной человек, вид которого показывал не имеющего понятия ни о каких хитростях. Впрочем, приступ начинался всегда по форме: смотритель садился за стол, развертывал книгу, оборачивал голову к двери и крикнув: «Проворнее лошадей!»,— оборачивался тотчас ко мне: «Вашу подорожную?»

— У меня нет ее,— отвечала я откровенно.

В ту же секунду глаз смотрителя прищуривался, из уст излетало таинственное «цсс!» «Не надобно, чтоб эти канальи что-нибудь знали!.. Вы пожалуйста мне полтинничек, и я скажу, чтоб и на той станции дали вам лошадей». Полтинничек отдавался беспрекословно, и канальи, которым не надобно ничего знать, зная все как нельзя лучше, пересказывают другим, своим и вольным, что вот перепархивает птица, у которой «подрезаны крылья».

На другой станции было все уже готово: прежде нежели я подъезжала к крыльцу, лошадей выводили, и каких лошадей! — настоящие львы! Надобно думать, что для подобных мне контрабандных проезжающих у господ смотрителей-спекуляторов есть особливые тройки лошадей, особливые ямщики и даже особливые дуги и колокольчики, по которым они узнают, что едет пожива для них.

После нескольких станций, на которых надобно было платить налево и направо, за все и про все, да еще и очень дорого, поехала я опять на вольных, но тут было еще хуже. «А что,— спрашивали крестьяне моего мальчика, которого я посылала нанимать их лошадей,— а что, разве на почте нет лошадей?» «Есть,— отвечал умный посланный,— да не дают: у барина нет подо-

рожной...» Крестьяне взглядывались между собою: «Поезжай, Терешка, у тебя есть кони дома». «Не хочется. Вчера возил купца: кладь была тяжела, перепались больно! Да ты что не едешь?» «У меня только что с поля воротились... Ну, да уж так и быть, повезу на усталых. Кони добрые, как раз долетят... Три синеньких до станции...» Сейчас запрягу».

К довершению неприятности моего пути, карандас мой был трясок, как простая телега, от которой он разнится только своею чудовищною длиною, но как в той, так и в нем рессор нет. Собачка моя не знала, какое принять положение, чтоб утвердиться на месте: то ложилась ко мне на колени, то протеснялась за спину, то уходила в ноги, но, видя, что везде одна немилосердная тряска, растягивалась посредине карандаса и оставалась уже так до станции.

Наконец, двадцать четвертого мая тридцать шестого года кончилось все: тряска, кривлянья, миганья, выдача полтинников, четверные прогоны — всему, всему конец! Я в Петербурге, я опять вижу тебя, великолепное жилище царей наших! Славная столица русская! — думала я, рассматривая знакомые здания, улицы, набережные.

— Где вы остановитесь, барин? — спрашивал ямщик.

— В трактире.

— В каком прикажете?

— Я не знаю, поезжай туда, где обыкновенно останавливаются приезжие.

— Да вот здесь трактир, в двух шагах от нас. Мы часто сюда привозим господ.

— Есть там особливые комнаты?

— Как не быть!

— Ну хорошо, подъезжай ближе.

Взошед на лестницу, я увидела много таких предметов, по которым могла сделать заключение, что я в харчевне, и хотела было сойти обратно. «Что вам угодно? Не комнату ли?» — спрашивал меня кто-то, проворно выскочивший из залы. «Комнату... разве они у вас есть? Ведь это харчевня?» «Помилуйте-с, какая харчевня! Кажется, изволили видеть надпись: это ресторация. Комнаты у нас прекрасные, угодно занять?» — «Да! Скажи человеку, чтоб въехал во двор».

Я пошла за мальчиком еще выше на лестницу, в третий этаж; он отворил дверь в комнату, маленькую, полосатую, угольную и вместе треугольную; в ней было натоплено, несмотря на то, что день был и без того нестерпимо жарок.

— Лучше этой нет? — спросила я, отступая от двери.

— Нет, теперь все заняты.

Я рассудила, что одни сутки могу прожить и в этом жарком треугольнике, что удобнее будет искать квартиру пешком, нежели таскаться из улицы в улицу, в тряском карандасе и на усталых лошадях.

И так, уступая необходимости, расположилась я на двадцать четыре часа в треугольном полосатом ящике, в котором к нестерпимому жару присоединялись бесчисленные рои мух. Я отворила окно, одно только, другого не было, и зло, вместо уменьшения, увеличилось: мух налетело ко мне втрое более, нежели было. Видно, майский воздух казался им слишком свеж и не так благоуханен, как воздух моей комнаты. И надобно признаться, что в выборе своем они были правы: ко мне проходило и тепло, и запах из кухни, чего ж лучше для мух!

Когда из карандаса было все выбрано, внесено в комнату, расположено в порядке, начался мой туалет. Я очень помнила описание невыгодного появления на Невском проспекте Кемского и совсем не хотела быть ни в чем похожею на него. Надобно, чтоб платье его было какого-то дьявольского покроя, когда уже навлекло ему насмешки людей, вовсе незнакомых. Хоть я была уверена, что нигде так снисходительно не смотрят на все невыгодное в отношении к одеянию, как в нашей столице; что можно быть одету, как угодно просто, скромно, бедно, по-старинному — никто и виду не покажет, что заметил это; однако ж занялась тщательно преобразованием своим из путешественника, запыленного, загоревшего, обветревшего, у которого волосы два вершка длиннее, чем должно, нахмуренного, озабоченного — в чистого, красиво одетого жителя столицы. Длинные волосы укоротились и завились, какая-то косметическая вода возвратила лицу моему цвет, по которому никто бы не мог заключить, что я проехала две тысячи верст весною и что во всю дорогу пыль покрывала меня и солнце жгло беспрепятственно. Остальное одеяние мое

отвечало во всем старательно убранной голове, и я вышла, наконец, из своего треугольного чистилища точно так же, как пишется в русских сказках, что в одно ушко влез, а в другое вылез молодцом.

Сошед с лестницы на улицу, я направила шаги мои прямо на Невский проспект, к гостиному двору, к Казанскому собору. Пятнадцать лет не была я в Петербурге. Как все переменилось, сколько прибавилось огромных зданий, столица сделалась гораздо обширнее, величественнее, сады украсились, разрослись. Петербург стал лучше, нежели был. Но при всем этом какая грусть теснит душу мою! Вид памятника Александру заставил меня горестно всплеснуть руками, с невыразимою печалью смотрела я на высокую колонну и ангела с крестом.

Грустные воспоминания отняли у меня охоту идти куда-нибудь еще, я возвратилась в свою ресторацию; а как дня оставалось еще много, то занялась снова укладыванием вещей и платья в чемодан, для того чтоб завтра как можно ранее переехать на другую квартиру, и именно в трактир Демута. Мне казалось очень неприличным принять Пушкина в таком фонаре, какой я занимала.

На новой квартире своей я живу под облаками; мне достался номер в четвертом этаже. Что подумает Александр Сергеевич, когда увидит, сколько лестниц надобно будет пройти ему? Однако ж нечего делать. К лучшим номерам приступу нет, по крайности для меня, потому что у меня осталось только двести рублей, а в виду ничего еще покамест. Хорошо, если Пушкин отдаст мне мою тысячу рублей теперь же, а если нет?

Я написала к Александру Сергеевичу коротенькую записочку, в которой уведомляла его просто, что я в Петербурге, квартирую вот тут-то.

На другой день, в половине первого часа, карета знаменитого поэта нашего остановилась у подъезда. Я покраснела, представляя себе, как он взносится с лестницы на лестницу и удивляется, не видя им конца. Но вот отворилась дверь в прихожую. Я жду с любопытством и нетерпением! Отворяется дверь, и ко мне... но это еще пока мой Тишка, он говорит мне шепотом и вытянувшись: «Александр Сергеевич Пушкин!» «Проси!»

Входит Александр Сергеевич... к этим словам прибавить нечего.

Я не буду повторять тех похвал, какими вежливый писатель и поэт осыпал слог моих записок, полагая, что в этом случае он говорил тем языком, каким обыкновенно люди образованные говорят с дамами. Впрочем, любезный гость мой приходил в приметное замешательство всякой раз, когда я, рассказывая что-нибудь относящееся ко мне, говорила: «был, пришел, пошел, увидел». Долговременная привычка употреблять «ъ» вместо «а» делала для меня эту перемену очень обыкновенною, и я продолжала разговаривать, нисколько не затрудняясь своею ролею, обратившеюся мне уже в природу. Наконец Пушкин поспешил кончить и посещение и разговор, начинавший делаться для него до крайности трудным.

Он взял мою рукопись, говоря, что отдаст ее сейчас переписывать, поблагодарил меня за честь, которую, говорил он, я делаю ему, избирая его издателем моих записок, и оканчивая обязательную речь свою, поцеловал мою руку. Я поспешно выхватила ее, покраснела и уже вовсе не знаю для чего сказала: «Ах, боже мой! Я так давно отвык от этого!» На лице Александра Сергеевича не показалось и тени усмешки, но полагаю, что дома он не принуждал себя и, рассказывая домашним обстоятельства первого свидания со мною, верно, смеялся от души над этим последним восклицанием.

28-е мая. «Что вы не остановились у меня, Александр Андреевич? — спрашивал меня Пушкин, приехав ко мне на третий день.— Вам здесь не так покойно. Не угодно ли занять мою квартиру в городе? Я теперь живу на даче».

«Много обязан вам, Александр Сергеевич, и очень охотно принимаю ваше предложение. У вас, верно, есть кто-нибудь при доме?»

«Человек, один только. Я теперь заеду туда, прикажу, чтоб приготовили вам комнаты».

Он уехал, оставя меня очарованною обязательностию его поступков и тою честию, что буду жить у него, то есть буду избранным гостем славного писателя.

30-го мая. Сего дня принесли мне записку от Александра Сергеевича. Он пишет, что прочитал всю мою ру-

копись, к этому присоединил множество похвал и заключил вопросом: переехала ль я на его квартиру, которая готова уж к принятию меня.

Я послала своего лон-лакея, которого необходимо должна была нанять, потому что мой Тишка из всякой командировки, хотя б она поручалась ему на рассвете, возвращался непременно по закате солнца. Послала узнать, можно ли переехать в дом, занимаемый Александром Сергеевичем Пушкиным? И получила очень забавный ответ, что квартира эта не только не в моей власти, но и не во власти самого Александра Сергеевича, что как он переехал на дачу и за наем расплатился совсем, то ее отдали уже другому.

Я не знала, что подумать о такой странности, и рассудила, что лучше вовсе не думать о ней. Отписала к Пушкину о разрушении надежд моих на перемещение; поблагодарила его за благосклонный отзыв о записках моих и просила его поправить где найдет нужным: «вы, как славный живописец, который двумя или тремя чертами кисти своей делает из карикатурного изображения небесную красоту, можете несколькими фразами, несколькими даже словами дать моим запискам ту занимательность, ту увлекательность, ту чарующую гармонию, по которым ваши сочинения узнаются среди миллиона других».

Я не льстила, писавши это. Дышу презрением к этому низкому способу выигрывать расположение людей, и к тому ж я более способна сказать колкость, нежели лесть. Но в отношении к дарованиям славного поэта я точно так думала, как писала, и всегда считала, что он из скромности только подписывается под своими стихотворениями, но что они вовсе не имеют в этом надобности, что их можно узнать и без подписи.

Отправив записку, я отправилась и сама взглянуть на те места, в которых жила четыре года.

Сколько воспоминаний столпилось в сердце и уме моем при виде низенького углового домика в Коломне! Вот его зеленые жалюзи. Вот сад, густой, тенистый. Деревья его и теперь, как прежде, видны были через забор. Вот маленькая терраса.

Это был когда-то дом моего родственника, я жила в нем более двух лет. Как все здесь знакомо мне и знакомо не просто. Вот здесь проезжала карета, стук колес

ее я умела отличать от стука колес всех карет, сколько их есть в Петербурге.

Пятнадцать лет исчезли! Мне казалось, что я попрежнему опять иду к Аларчину мосту, оттуда к Калинкину, к Триумфальным воротам... на дачу, на дачу! Смотрю на нее и не узнаю. Кто-то живет здесь теперь? Отчего вся эта сторона смотрит какою-то фабрикою? О, пятнадцать лет, оставили вы здесь следы свои.

Я прошла на Козье болото. Как любила я эту площадь, не вымощенную камнем! Ее уже нет, она застроена. Воспоминания мои не знают, куда приютиться. Однако ж это то место, где я часто и охотно бывала. Здесь жил ротмистр Ска-в, которого я знала еще тогда, как он и я были гусарами. Как я радовалась, что опять увижу его и жену его, добрую и веселую молодую женщину. Я забыла, что этому прошло пятнадцать лет.

Отворяю ворота, всхожу на знакомую лестницу, ожидаю услышать, по обыкновению, визгливый лай двух или трех маленьких собачек — напрасно. Все тихо, и двери заперты. Я постучалась, отпирают... Довольно было взглянуть на отворившего мне дверь, чтоб не спрашивать уже: «Дома ли господа Ска-вы?» Я спросила только: «Кто живет здесь?» Мне сказали немецкую фамилию. «А Ска-в?» «Кто?» «Ска-в». «Не знаю». Дверь опять затворилась.

После я узнала, что Ска-в умер, а молодая, веселая госпожа Ска-ва сделалась дородною, пожилою женщиною, очень бедною. Тогда только я вспомнила, что этому прошло пятнадцать лет уже, как я рассталась с ними.

Итак, нет в этой стороне ни родных, ни друзей моих. Прости, Коломна!.. разве еще в глубокой старости приеду я сюда, чтоб впоследствии взглянуть на все то, на что смотрю теперь и на что смотрела пятнадцать лет тому назад. Теперь я еще понимаю тогдашние ощущения, понимаю, что за потерю их нельзя заплатить человеку сокровищами всего света! Теперь я могу еще забыть пятнадцать лет, забыть и радостно пройти по дачам Раля, княгини Вяземской, Нарышкиной, с восторгом прочитать знакомые надписи, отыскать между ними свои и так многое припомнить. Но тогда я, верно, пойду медленно, нога за ногою, опираясь на трость. Может, какая из надписей, особливо на деревьях, уцелеет, я

прочитаю ее сквозь очки, качая седою головою и говоря: «Какое безумие!»

Этот день был для меня скучен. Бог знает, где мои родные. Знакомых много умерло. Поеду еще завтра на Васильевский остров.

Убеленный сединами, В··· П··· Жу-ский сидел на диване, когда я вошла.

— А! — воскликнул он, вставая и целуя меня.— Александров! Вы ли это появились снова в наших местах?

— Как видите, Вл··· П··· Но как же вы узнали меня так скоро? Разве я мало переменился?

— Почти нисколько! Вот я так старик стариком, сед, как лунь!

Я не смела сказать, что он совсем не похож на старика, чтоб он не подумал, что я плачу приветствием за приветствие. И так я промолчала, но в самом деле лицо его было живым противоречием его волосам, потому что оно было свеже и румяно, а последние точно белы, как снег.

Минут через пять пришла жена его, когда-то живая, черноглазая красавица, а теперь уже довольно пожилая дама. Она тоже сказала мне, что я мало переменилась и что пятнадцать лет пролетели, не задев меня ни одним пером крыльев своих. Через час посещение мое кончилось.

Ах, как грустно увидеться с кем бы то ни было через пятнадцать лет! Этого мало, что лицо не то, но и поступки, разговор, образ мыслей, самые телодвижения — все так изменится, что видишь, знаешь, что это вот тот самый, кого знал прежде, и все-таки думаешь: «Нет! это не он».

Александр Сергеевич приехал звать меня обедать к себе:

— Из уважения к вашим провинциальным обычаям,— сказал он усмехаясь,— мы будем обедать в пять часов.

— В пять часов? В котором же часу обедаете вы, когда нет надобности уважать провинциальных привычек?

— В седьмом, осьмом, иногда и девятом.

— Ужасное искажение времени! Никогда б я не мог примениться к нему.

— Так кажется. Постепенно можно привыкнуть ко всему.

Пушкин уехал, сказав, что приедет за мною в три часа с половиною.

С ужасом и содроганием отвратила я взор свой от места, где несчастные приняли достойно заслуженную ими казнь. Александр Сергеевич указал мне его.

Искусственная природа бывает иногда так же хороша, как и настоящая. Каменный остров, где Пушкин нанимает дачу, показался мне прелестен.

С нами вместе обедал один из искренних друзей Александра Сергеевича господин П••в да три дамы, родственницы жены его; сама она больна после родов и потому не выходила.

За столом я имела случай заметить странность в моем любезном хозяине. У него четверо детей, старшая из них, девочка лет пяти, как мне казалось, сидела с нами за столом. Друг Пушкина стал говорить с нею, спрашивая: не раздумала ль она идти за него замуж? «Нет,— отвечало дитя,— не раздумала». «А за кого ты охотнее пойдешь, за меня или за папеньку?». «За тебя и за папеньку». «Кого ж ты больше любишь, меня или папеньку?». «Тебя больше люблю и папеньку больше люблю». «Ну а этого гостя,— спросил Александр Сергеевич, показывая на меня,— любишь? Хочешь за него замуж?». Девочка отвечала поспешно: «Нет, нет!». При этом ответе я увидела, что Пушкин покраснел. Неужели он думал, что я обижусь словами ребенка? Я стала говорить, чтоб прервать молчание, которое очень некстати наступило за словами девочки: «Нет, нет!» и спросила ее: «Как же это! Гостя надобно бы больше любить». Дитя смотрело на меня недоверчиво и, наконец, стало кушать. Тем кончилась эта маленькая интермедия. Но Александр Сергеевич! Отчего он покраснел? Или это уже верх его деликатности, что даже и в шутку, даже от ребенка не хотел бы он, чтоб я слышала что-нибудь не так вежливое? Или он имеет странное понятие о всех живущих в уездных городах?

Наконец я отыскала родных своих и переехала жить в соседство к ним, на Пески, недалеко от одного из лучших садов Петербурга — от Таврического.

Эта часть города считается слишком удаленною от всего, что манит любопытство и выманивает деньги, и

потому квартиры здесь несравненно дешевле, нежели на Литейной, Миллионной или на которой-нибудь из набережных.

Как я рада, что эту прекрасную часть города считают не так блистательною. Без этого ложного поверья, квартиры здесь были б дороже всего дорогого: для того, что кроме здорового воздуха, близости Невы, прекрасных видов ее другого берега, она имеет пред прочими местами то неоцененное преимущество, что как бы ни было велико наводнение, до нее не достигает.

Каким странным свойством наделила меня природа! Все, что только налагает законы моей воле, предписывает границы моей свободе, как бы ни было прекрасно само по себе, теряет в глазах моих всю привлекательность. Что может быть лучше соседнего сада? Это рай, уединенный, тенистый, благоухающий рай! Но... вокруг его забор с колючками... довольно этого! Я переезжаю за Неву и охотнее гуляю по болотам между Охтою и пороховыми заводами, нежели в раю, похожем... в раю огороженном!

15-го июля. Сегодня опять был у меня Александр Сергеевич. Он привез с собою мою рукопись, переписанную так, чтоб ее можно было читать. Я имею дар писать таким почерком, которого часто не разбираю сама, и ставлю запятые, точки и запятые вовсе некстати, а к довершению всего у меня везде одно «е».

Отдавая мне рукопись, Пушкин имел очень озабоченный вид. Я спросила о причине. «Ах, у меня такая пропасть дел, что голова идет кругом! Позвольте мне оставить вас, я должен быть еще в двадцати местах до обеда». Он уехал.

Две недели Александр Сергеевич не был у меня. Рукопись моя лежит, пора бы пустить ее в дело. Я поехала сама на дачу к Пушкину — его нет дома.

«Вы напрасно хотите обременить Пушкина изданием ваших записок,— сказал мне один из его искренних друзей и именно тот, с которым я вместе обедала.— Разумеется, он столько вежлив, что возьмется за эти хлопоты и возьмется очень радушно, но поверьте, что это будет для него величайшим затруднением, он с своими собственными делами не успевает управиться, такое их множество, где же ему набирать дел еще и от других. Если

вам издание ваших записок к спеху, то займитесь ими сами или поручите кому другому.

Мне казалось, что Александр Сергеевич был очень доволен, когда я сказала, что боюсь слишком обременить его, поручая ему издание моих записок, и что прошу его позволить мне передать этот труд моему родственнику. Вежливый поэт сохранил, однако ж, обычную форму в таких случаях. Он отвечал, что брался за это дело очень охотно, вовсе не считая его обременением для себя. Но если я хочу сделать эту честь кому другому, то он не смеет противиться моей воле. «Впрочем,— прибавил он,— прошу вас покорнейше во всем, в чем будете иметь надобность в отношении к изданию ваших записок, употреблять меня, как одного из преданнейших вам людей».

Так-то я имела глупость лишить свои записки блистательнейшего их украшения, их высшей славы — имени бессмертного поэта! Последняя ли уже это глупость? Должна быть последняя, потому что она уже самая крупная!

Записки мои печатаются. Но я ни о чем так мало не думаю, как о них, и ни от чего не ожидаю так мало пользы, как от них.

Не тою дорогою пошла я, которою надобно было идти. Теперь я вижу ее. Ах, как она была б выгодна для меня. Теперь светло вокруг меня, но поздно!

Августа 29-го. Вчера, часу в шестом вечера шла я с Невского проспекта на свои любезные Пески. Вдруг мальчик лет одиннадцати заступает мне дорогу и вскрикивает: «Александр Андреевич!» Я взглянула на него: «Что тебе надобно, друг мой?» «Как, разве не узнаете меня?» «Нет». «Я Володя, вы жили в нашем доме в Уфе». При этом напоминании малютки я тотчас его узнала. «Где ж твоя маменька, Володя?» «Здесь, в Петербурге, мы живем в Моховой, пожалуйте к нам. Это очень близко. Как маменька обрадуется! Она всякой день вспоминает об вас».

Мы пришли в Моховую и взошли в ворота большого каменного дома, прошли под ними, перешли вкось весь двор, к самому углу его. Тут было небольшое крыльцо, довольно гладкое. «Маменька, маменька! — кричало дитя с восторгом, подходя к лачужке, в которую вело это крыльцо,— посмотрите, кого я привел к вам!» Мать выглянула в форточку окна и в секунду была уже на

крыльце: «Здравствуйте, мой добрый друг, здравствуйте! Ах, Володя, как ты мил, дитя мое, что ты отыскал моего доброго Александрова! Хотите чаю? Не хотите ли кофе?.. мороженого? Ну, садитесь, да вот сюда, поближе к окну. Дайте посмотреть на себя. Ведь целые три года прошли, как вы уехали от нас из Уфы. А я вскоре после вас продала дом и приехала сюда, чтоб пристроить своего Володю, да вот все еще не успела».

Между тем как добрая госпожа С⋯ва рассказывала, спрашивала и опять рассказывала, не дождавшись ответа, я рассматривала с удивлением и вместе с сожалением ее квартиру, о которой она раза три уже спросила меня: «Не правда ли, что у меня прекрасная квартира?»

Эта прекрасная квартира была не что иное, как сырой, холодный, закоптелый ящик, перегороженный надвое, с простою, русскою печью, с четвероугольными тусклыми окнами, в самом низу дома и в приятном соседстве погребов и конюшен. Беднейшая мебель, какую только можно себе представить, была приличным дополнением к этой прекрасной квартире. Услыша, что моя добрая приятельница в четвертый раз начинает: «не правда ли...»,— я прервала ее вопросом, сколько она платит за этот будуар?

— Двадцать рублей, mon ami *,— отвечала она весело.

— Есть за что! Знаете ли, что за эту цену вы могли бы иметь на Васильевском острове, в Коломне или на Песках три комнаты с прихожею и кухнею.

— Может быть, но ведь это такая ужасная даль!

— От чего?

— Ну... от всего...

— От чего, однако ж?

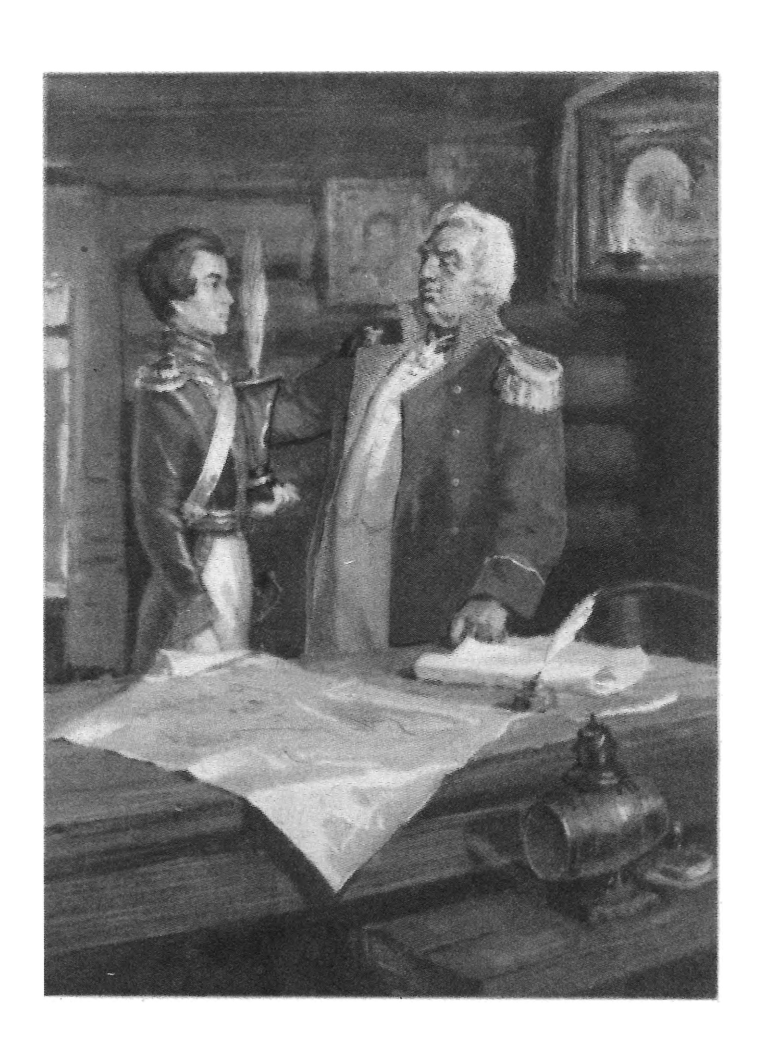
— У меня здесь много знакомых.

— Бог с ними! Ваши знакомые не подумают об вас, когда вы занеможете от этого погреба, который величаете прекрасною квартирою.

— Что делать, mon ami,— сказала С⋯ва со вздохом, и веселый вид ее изменился на грустный...

— Что делать? С приезда моего сюда я квартировала еще хуже. Здесь, по крайности, я могу ходить и стоять

* Mon ami (франц.) — мой друг.



К стр. 73

прямо, а у меня была комната, в которой только мой Володя устанавливался во весь рост. Что делать? Я задолжала здешней хозяйке дома, нельзя съехать от нее, не расплатившись за все время, сколько прожила, а для этого у меня нет денег.

Я от всей души жалела, что нескромными расспросами довела ее до этого неприятного признания.

— Квартира моя бедна, Александров,— сказала госпожа С···ва, прощаясь со мною,— но я имею прекрасные знакомства, у меня бывают люди очень образованные, которых ум и приятные таланты сделали бы честь всякому кругу, высокому, не только мрачной хижине бедной вдовы С···вой! Надеюсь, вы будете, как бывали прежде, моим вседневным гостем?

— Но здесь ведь не Уфа, мой добрый друг, и я не квартирую у вас, как было там. У меня есть занятия и тоже знакомства. Не могу обещать вам приходить каждый день, но буду у вас так часто, как только возможно. Довольны вы этим обещанием?

— Нет! я привыкла видеть вас каждый день.

— Как? Вы не видали меня три года!

— Тогда вас не было здесь, но когда уже мы в одном городе, когда уже вы пришли ко мне, то надобно, чтоб это было по-прежнему. Вспомните Уфу: вы приходили ко мне каждое утро и тогда, как не квартировали еще у меня.

— Я, может быть, и здесь буду приходить к вам каждое утро, но только не считайте этого непременным. Если когда не прийду, не посылайте узнавать, что со мною, куда уехала, прийду ли, когда прийду.

— Ну, ну, там увидим. Ожидаю вас к себе всякой день. Приходите завтра пить кофе.

Я пошла домой, размышляя о странном характере моей знакомки. Это олицетворенная доброта. Она верит дружбе, честности, праводушию, бескорыстию. Всякому дурному поступку своих знакомых находит извинение и всегда готова отказаться от своего мнения и согласиться с самою дикою нелепостью, если только эта нелепость утверждается человеком, ею любимым. Я никогда еще никого не знала и не видала, кто б более ее был полезен другим и вреден себе.

Когда она рассказывает о ком, высчитывает его хорошие качества и прибавляет: «Я очень люблю его, или

ее!» — то мне всегда приходит охота спросить: «Но кого ж вы не любите?» Всякой бедный, всякой бесприютный найдет и кусок хлеба и место, где укрыться от дождя, от снега, от невыгоды ночевать на улице, найдет в ее темном, сыром чулане. Если б ее похвалы принимались за наличную монету и если б по ним оценивались достоинства тех, кого она осыпает ими, то я была бы уже генералиссимусом — так много во мне воинских доблестей, сияющих, как солнце! Похвалы доброй С…вой опаснее и вреднее всякой хулы. Один из наших общих с нею знакомых сказал ей, что она хвалит всех наповал. Я ничего не знаю справедливее этого выражения, оно как нельзя лучше изображает всеразрушающий поток ее похвал, с корнем вырывающий всякое доброе мнение, какое могли бы иметь прежде о хвалимой ею особе.

Я умоляла ее именем той дружбы, которую она точно имеет ко мне, чтоб она нигде и никогда не хвалила меня, и сказала ей прямо, что чрезмерность ее добрых слов вредит всякому, что расхваленный ею человек чувствует себя убитым, уничтоженным, не рад жизни оттого, что на него смотрят с удивлением, не находя в нем ничего даже похожего на то описание, какое вы сделали об нем.

На другой день, как нарочно, я не имела времени зайти к госпоже С…вой поутру, а к вечеру уехала на дачу к князю Д…ву. Там я, кроме того, что имела удовольствие возобновить старое знакомство с семейством его, сделала еще несколько новых. Особливо мне очень приятно было узнать двух молодых графов К…х, сыновей моего бывшего начальника.

Общество старого князя Д…ва состоит и теперь так же, как состояло прежде, из людей образованных, с дарованиями и что еще реже и лучше дарований — с добрым сердцем и благородною душою. Никогда ни одного дурного человека не встречала я в радушном, светлом, теплом и веселом доме князя Д…ва. Многочисленная семья его во всем похожа на него: все они добры, ласковы и вежливы. Дочь князя, которую я знала еще, когда она носила волосы, завитые á la tirebouchon *, и была очень миленькая, черноглазая брюнеточка четырнадцати лет, теперь дама, мать многих детей, и как была, так

---

* á la tirebouchon (франц.) — локонами.

и осталась: святое добродушие. Свет, его примеры, богатство, почести не исказили ее прекрасной души — она все та же.

Я провела у них дней пять, жила в прекрасном маленьком чердачке, похожем на палатку; читала, гуляла по дачам, из которых князева лучшая; ездила верхом на маленькой лошадке, которая имела дурную привычку скакать во весь дух на всякую гору, хотя б седок ее вовсе того не хотел; видела много дам, прогуливающихся верхами, и всегда уезжала от них далее: мне стыдно было, что у меня лошадка, а не конь боевой и что эта лошадка подчас может и унести меня, как Лерда Домбидейкса, совершенно против воли, что во всяком случае очень смешно, а для меня даже убийственно: может ли кто ожидать, что рука управлявшего некогда Алкидом не может справиться теперь с детскою лошадкою!

Приехав обратно в город, я узнала от своего мальчика, что госпожа С···ва присылала каждый день узнать, возвратилась ли я, и раза три приходила сама. Вот неугомонная женщина и неугомонная дружба ее! Надобно, однако ж, отправиться в Моховую. Говорят: старый друг лучше новых двух.

Молодая Т···ская — женщина редких достоинств: и добродушна и простодушна, как дитя. Я очень удивилась, увидя в мрачном угле, обитаемом госпожею С···вою, даму хорошего тона. Видно, думала я, приятельница моя не увеличивала, по обыкновению, когда говорила, что имеет хорошие знакомства.

Т···ская очень хороша собой, недавно замужем и не имеет еще, как кажется, и двадцати лет от роду. К С···вой она приехала с мужем, молодым и прекрасным человеком. Я познакомилась с ними очень скоро.

— Ну, что,— спросила меня С···ва на другой день, когда я пришла к ней поутру,— что! Каковы Т···ские? Особливо она, что за ангельская душа! Что за...

— Постойте, ради бога, постойте! Дайте мне самой узнать их хорошие качества. Они приглашали меня приезжать к ним запросто, когда мне вздумается, и я хочу завтра идти к ним поутру.

— Подите, mon ami! Вы увидите, что это за люди. Какой тон! Какой дом! Не их, но все равно: как мебли-

рован! Одна мебель стоит двадцать тысяч! С каким вкусом сделана, великолепная мебель!

— Да утишится ли когда-нибудь восторг ваш! Впрочем, мебель, пожалуй, хвалите сколько угодно, потому что если она ровно двести раз будет хуже того, как вы ее опишете, то в этом еще никто ничего не теряет.

— С чего, однако ж, взяли вы ни в чем не верить мне? Да вот я сейчас докажу вам, что говорю правду. У меня есть одно такое кресло, как вся мебель у Т···ских.

— Как! в двадцать тысяч?..

— Не в двадцать тысяч, а только точно такое.

Между тем как она пошла за ширмы, чтоб вытащить оттуда какие-то заветные кресла, я взяла шляпу.

— Ну, что теперь скажете? Не прелесть ли это! — говорила она, ставя передо мною кресла так, чтоб загородили мне дорогу к дверям.

— Правда, правда! Это в самом деле какой-то отрывок роскоши и богатства.

— То-то же! Не все же я хвалю очертя голову, без пощады, наповал — любимые ваши выражения.

Она понесла в торжестве свои кресла на прежнее их место, говоря мне: «Не бегите же, не бегите! Куда вы? У меня кофе готов. Я жду гостей, ко мне приедут...» Она сказала фамилии трех или четырех молодых людей, которых ожидала, и хотела было делать восторженное описание их наружности, ума, дарований, поступи, телодвижений... И я уже с отчаянием положила шляпу и села на стул, чтоб переносить эту пытку, как вдруг хвалимые вошли.

Вот уже пятый месяц, как я здесь. Наступила осень, вечера делаются долги и скучны. Хоть я и познакомилась с несколькими домами посредством молодой Т··· ской, но мне очень трудно примениться к их образу жизни: мучительный вечер их, простой домашний вечер начинается в девять часов.

Девять часов! Пора, которую все мы, когда-либо обитавшие в лагерях и на биваках, привыкли считать порою священною. Мне кажется, я и теперь еще слышу важный и торжественный звук труб, играющих «Да исправится молитва моя!», и в эту-то самую пору я должна одеваться, завивать волосы, свесть с ума своего

мальчика поспешным требованием то того, то другого, с нетерпением оттолкнуть свою собачку, которая, встревожась безвременными сборами куда-то, ласкается, ложится ко мне на руки, жмется к груди и белою шерстью своею марает мой черный фрак. И для чего ж я делаю все это: одеваюсь, досадую, тороплюсь, отталкиваю? Для того только, чтоб ехать верст за шесть или за пять, верстою ближе или дальше, в какой-нибудь дом, где я через полчаса уже чувствую себя совершенно лишнею, потому что все или играют или танцуют. Играть я не люблю, танцевать как-то не приводится, да и было бы смешно: я должна танцевать с дамою! Какая ж из них пойдет со мною охотно? И в этом случае я тоже плачу им совершенною взаимностью. Нет, нет! На балах, вечерах не в своей тарелке я.

Первая часть моих Записок вышла и, как масло, расплылась повсюду, не принеся мне никакой прибыли, кроме нестерпимой скуки слышать, что всякий начинает и оканчивает разговор со мною не иначе, как о моих Записках; другой материи нет! Я — настоящее второе издание моих Записок, одушевленное.

Вторая часть тянется более трех месяцев; а первая давно уже красуется на столе у меня огромною грудою.

1-е генваря. Сегодня срок платить Кайданову за бумагу, кажется, более трех тысяч с половиною, а у меня, право, нет и четырехсот рублей! Что ж тут делать? Просить подождать мне кажется слишком унизительно и несправедливо. Если б он согласился взять книгами... у меня один только этот способ и есть расплатиться, предложу его. И как я в качестве должника не вправе назначать цены своей книге, то отдам ему на волю назначить самому.

Я уже никак не ожидала, чтоб Шат··· дал мне более пяти рублей за экземпляр, и без малейшей тревоги сердца готова была отдать следующее число книг, но к счастию, дело обошлось иначе. Надобно отдать справедливость благородному С···, что он не захотел пользоваться случаем получить большую половину моих книг менее нежели по четыре рубля, потому что я считала себя обязанною уступить бесспорно, за какую бы то ни было малую цену, только чтоб заплатить деньги, которым пришел срок.

С[illegible] дал Шат[illegible] по семи рублей с полтиною за экземпляр, и я так обрадовалась этой выгодной сделке, что с самым веселым видом смотрела, как брали со стола мои четыреста экземпляров и уносили вниз укладывать в сани господина Шат[illegible].

«Надеюсь, вы сделаете мне честь, пожалуете ко мне откушать!» — говорила мне одна очень любезная дама (вскоре после того, как первая часть моих Записок пошла гулять по свету). «Охотно. В котором часу вы обедаете?» «В четыре. Я пришлю за вами карету, где вы живете?» Я сказала.

Любопытные взоры всех гостей, какое-то невольное движение подойти ко мне ближе, поспешная встреча хозяйки, радушно взявшей мои руки и дружески пожавшей их, показали мне, что я желанный гость в этом доме, и вмиг рассеяли мое недоверие к себе и боязнь сделать или сказать что-нибудь невпопад.

Я осталась тут с час еще после обеда и не скучала, отвечая на расспросы дам, иногда довольно замысловатые.

«Позвольте мне быть уверенной, что знакомство наше этим не кончится, вы много обяжете меня, если будете приезжать чаще. Мы все так полюбили вас. У меня редко бывает большое общество. Все это, что вы сегодня видели, мои родные: у меня круг семейный». Это говорила хозяйка дома, провожая меня до дверей гостиной. Я хотела было уехать так, как уезжала пятнадцать лет тому назад, тихонько, не простясь, но постоянное внимание хозяйки мне этого не позволило. Я уехала в той же карете, в которой приехала.

Хотела бы я знать, есть ли что-нибудь гаже и беспокойнее теперешнего извозчичьего экипажа (разумеется, дрожек); кому-то пришло в голову делать их без особливого места для кучера, и вышла простая длинная лавка, обтянутая сукном. Прежде это было не так. Наемный экипаж этот был покоен, красив и очень благородной формы; кучер сидел на приличном ему месте, а не на коленях у пассажира. Люди вечно перемудрят, выдумывать их страсть, и если не могут выдумать лучше, то начинают портить. Но остановиться на чем-нибудь хоро-

шем — сохрани боже, надобно идти вдаль! Я поневоле обратила внимание на такую гадкую вещь, какою кажутся мне извозчичьи дрожки. Меня застал дождь на дороге, и чтоб скорее спастись от него, я села на первые попавшиеся мне дрожки и от нечего делать всю дорогу замечала их невыгодность и несовершенство. У ворот госпожи С**вой я встала и, хотя в это самое время дождь пустился как из ведра, бодро перебежала двор. Моя приятельница едва не расшибла мне черепа в куски, поспеша распахнуть дверь, чтоб скорее впустить меня: «А... bon jour, mon ami! Mon bon ami *. Где это вы были? Я посылала за вами Володю, посылала Финетту (горничная девка) — нет как нет! Нигде не могли найти вас!» «Странно, в самом деле! Не могли найти в Петербурге! Это ведь так легко!» «Ну полно, полно. Садитесь, у меня сегодня гости». «Поздравляю вас, но когда ж их нет?» «Ах, правда! Я так счастлива — у меня всегда люди!»

Я не была у госпожи С**вой с неделю. Этого отдохновения требовало здоровье мое: влажность адского жилища, где бедность и вместе ветреность заставили ее угнездиться, сильно стала действовать на мою физику: легкая боль в руке, которую я чувствовала еще дома, стала усиливаться до нестерпимости, и я постепенно теряла способность владеть ею.

В продолжение этого времени дама, присылавшая за мною карету, прислала опять звать меня на вечер: «У меня будут петь тирольцы,— писала она в записочке, — приезжайте послушать и сравнить их пение с тем, которое вы, верно, слышали в их родине, на их горах». Я приехала. На этот раз общество было гораздо многочисленнее прежнего, снова была я дорогим гостем, снова милая хозяйка сжала мои руки в своих как нельзя более дружески. Снова любопытство и внимание всех были обращены ко мне одной, и опять дамы, делавшие мне замысловатые вопросы, стали делать их и, как видно, в угодность своим приятельницам о таких уже вещах, что я была в большом затруднении как отвечать. Долговременная привычка говорить и поступать сообразно своей роли в свете делала для меня вопросы их и смешными

* Bon jour, mon ami! Mon bon ami! (франц.) — Здравствуй, мой друг! Мой добрый друг!

и дикими вместе. Я не понимала, как могут они решиться говорить мне подобные вещи.

Получа множество лестных приглашений и ласковый выговор от хозяйки, что забыла ее и что верно не вспомнила бы, если б она не прислала за мною, я простилась и уехала. Надобно бы на этом кончить. Это было второе посещение, но как же не поверить, когда держат руку, провожают до дверей и говорят: «Позвольте нам надеяться, что вы не будете уже так забывчивы и приедете к нам, как только можете скорее».

— Что с вами, mon ami, что с вами — скажите, ради бога? — говорила госпожа С···ва, схватывая меня с испугом, как только я переступила через порог.

Я испугалась сама:

— А что?

— Да вы целую неделю не были у меня. Я думала, вы лежите при смерти больная!

— Да вы, кажется, успеете хоть кого уложить на смертный одр, если будете так пугать при входе. Я, право, думала, что вы уже видите на лице моем все признаки смерти: с таким ужасом вы бросились ко мне.

— Да как же не грех не прийти целую неделю! Разве так делают друзья?

— Делают иногда.

— Извините, никогда! Ну, да уж бог простит, вы теперь здесь, так все забыто. Расскажите ж мне, где вы были во все время? Кого видели? С кем познакомились?

Я рассказала.

— Вы пресчастливый человек, Александров! Все наперерыв хотят узнать вас, увидеть, познакомиться. Как бы я желала быть на вашем месте! Ну, кто ж были еще на этом вечере?

Я сказала фамилии тех, кого могла вспомнить. С···ва многих из них знала и захвалила насмерть.

Возвратясь домой, я нашла записку. Мальчик подал ее мне с каким-то необыкновенным глупо-торжественным видом:

— Что с тобою, Тишка?

— Приходили покупать ваши книги!

— А! видно, и тебе наскучила эта розовая скала! Кто ж приходил?

— Не знаю.

— Почему ж ты думаешь, что это для покупки книг?

— Так сказал тот, кто был.

— Для чего ж ты не спросил, кто он таков?

— Так, что-то не пришло в голову.

— Умно!

Я стала читать записку и с первых слов увидела, что это не о книгах:

— Ты вздор говоришь, Тихон; тут совсем не о книгах пишут.

— Эту записку привезли две дамы в карете четверней. Они велели вам приехать к ним завтра, потому что они больны и никуда не выезжают...

Я услышала хохот у дверей — это была одна из моих родственниц: «Как вижу, mon frére *, красноречие Цицерона ничто против витиеватого слога вашего Тишки! Я пришла звать вас гулять в Таврический сад, пойдемте, пожалуйста, нас большая компания, и все горят нетерпением вас видеть!»

— И мне должно выступить напоказ!.. Увольте, ma soeur **... К тому же я не люблю гулять в Таврическом саду.

— Ах, что вы говорите! Это такая прелесть!

— Более чем прелесть: это рай, но я не люблю гулять в нем.

— У вас странный вкус!

— Может быть, но ведь вы знаете пословицу, что о вкусах спорить нельзя. Впрочем, я принимаю смелость думать, что мой вкус хорош: я люблю гулять там, где ни взору, ни воле моей нет преграды.

— Вы хотите невозможного: сады не бывают открытым местом. Их всегда огораживают!

— Ну, да на этот раз дело в том, что я не пойду с вами гулять! Прощайте, ma soeur, не удерживаю вас.

Кузина ушла, а я осталась разбирать записку, привезенную в карете четверней. Белые чернилы, дурное перо, которые не знаю где выискали и подали приезжавшей даме, были причиной, что я не могла ничего понять из написанного; и так, оставя бесплодный труд разбирать неведомые письмена, предоставила завтрашнему дню решить эту задачу.

---

* Mon frére (франц.) — мой брат.

** Ma soeur (франц.) — моя сестра.

На другой день я оставалась дома часов до четырех, но никто не появлялся. Я взглянула печально на неколебимую громаду моих розовых книг и на последний золотой, который у меня оставался, и пошла на Васильевский остров, там было у меня старинное знакомство: вдова с двумя дочерьми и двумя же сыновьями. Первый раз еще пришло мне на мысль зайти к ним — и вот я отправилась.

Переходя Исакиевский мост, я увидела множество экипажей на площади против Академии художеств. На вопрос мой «для чего этот съезд?» — отвечали, что сегодня можно смотреть картины. Я вспомнила, что еще не видала славной картины Брюллова «Последний день Помпеи» и пошла за толпой.

Не моему перу описывать красоты этой картины. Как язык мой не имел выражения для чувств, так и перо не может передать их на бумаге. Я смотрела, дивилась, восхищалась и — молчала! Что можно сказать там, где все, что б ни сказала, будет мало?

От картины Брюллова нельзя идти в гости. Нельзя идти никуда! Лучше всего переехать Неву обратно и уйти в Летний сад.

Исполненная удивления к великому таланту славного художника, шла я задумчиво в свой обратный путь по широкой аллее Летнего сада. Визгливое восклицание: «Bon jour, mon ami», раздавшееся вплоть подле моего уха, заставило меня вздрогнуть и остановиться: это была госпожа С···ва с своим Володею. «Куда вы идете? Пойдемте с нами в Академию художеств, мы идем туда смотреть картины». «Я сейчас оттуда». «Нужды нет! воротитесь с нами. Пожалуйста, mon ami! Soyez si bon *; сделайте это для меня, для вашей С···вой!»

Нечего делать! Я уступила и на этот раз почти охотно: мне любопытно было слышать, какими именно выражениями будет она описывать несравненную картину Брюллова, и так я воротилась и пошла вместе с ними, ожидая каждую минуту, что она воскликнет: «Чудная картина! Видели вы ее?» Но я напрасно ожидала этого; С···ва говорила во всю дорогу о параде и спрашивала меня, видела ль я его. «Не правда ли, как похож госу-

---

* Soyez si bon (франц.) — будьте так добры.

дарь, наследник, все генералы, даже солдаты. Даже некоторые из зрителей чрезвычайно сходны!» Я смотрела на нее с удивлением: «Да с кем же все они сходны? Что вы такое говорите, чего я не могу понять?» «С кем? Странный вопрос! Разумеется, всякий сам с собою!» Я замолчала.

Наконец, мы пришли в Академию. Тут загадка объяснилась, и я увидела, что мы с госпожою С···вою не понимали друг друга: она говорила о параде-картине, а я разумела парад настоящий. Прежде всего она потащила меня к своему кумиру — к этому параду и с восторгом рассказывала мне, кто именно изображен: «Вот государь! Боже мой, как живой! Вот наследник... что за ангел!..» Надобно отдать справедливость искусству художника: величавый вид государя и прекрасная фигура наследника переданы на картине с величайшею точностию; о сходстве прочих лиц я не могла судить, потому что никогда не видала их.

«Теперь пойдемте к чуду нашего века, к картине Брюллова «Последний день Помпеи», — сказала я моей приятельнице, заметя, что восторг ее перед парадом начал утихать. «Пойдемте». Вот мы перед картиною. Я опять молчу, но С···ва!.. лучше было бы и ей тоже молчать. Молчание можно перетолковать иногда очень выгодно для безмолвствующего.

Сегодня мне вовсе нечем заняться. Дня четыре уже прошло, как я была на вечере у госпожи Р··· С···. Поеду к ней, а то она опять скажет, что я забыла ее.

Собачка моя более обыкновенного ласкалась ко мне и как будто не хотела расстаться со мною этого вечера. Бедное маленькое существо, жизнь твоя безрадостна теперь. В самом деле, я никуда не могу брать ее с собою: она уже не молода, не имеет прежней увертливости и вмиг попадет под колесо. «Подожди, Амур, — говорила я, гладя белую шелковистую шерсть его,—подожди, друг мой верный, кончится когда-нибудь невзгода наша, и мы возвратимся на цветущие луга свои, где ты опять будешь бегать вволю». Окончa утешительную речь своей собачке и поцеловав ее по обыкновению, я поехала провесть вечер у госпожи Р··· С···.

— Дома барыня?

— Дома.

Человек пошел доложить.

— Пожалуйте.

Я вошла.

— Здравствуйте! Садитесь. Сюда не угодно ли, на диван.

Я села, немного удивленная тем, что меня уже не берут за обе руки, не пожимают их, не видно радостной улыбки на хорошеньком личике моей хозяйки. С минуту она искала, что сказать:

— Как ваши дела? Вы, я думаю, в хлопотах?

Я отвечала машинально:

— Да, занятия мои не совсем приятны.

Но думала: кажется, в первые два посещения ни о чем так мало не заботились, как о моих делах и хлопотах: находились материи веселее и занимательнее. Между тем приехало несколько гостей, знакомых уже мне. Они поклонились вежливо, ласково, сказали со мною несколько слов и сели за карты, хозяйка тоже стала играть, и от той минуты я совершенно исчезла из глаз и памяти ее: она совсем забыла обо мне.

К дверям залы я подошла одна. Не слышно слов: «Не забывайте нас так надолго». У подъезда нет кареты, готовой отвезти меня, — я должна была уйти пешком. Что же это значит? Четыре дня только прошли от того вечера, как мною так дорожили! Что могло сделаться в эти четыре дня?

Теперь я уже знаю, что значит и что могло сделаться, но тогда долго ломала голову, чтоб разгадать перемену в обращении госпожи Р··· С··· и ее знакомых. Наконец, приписав все это мимолетному капризу, решилась, однако же, не подвергаться ему более и оставить знакомство госпожи Р··· С···. Так кончилось третье посещение дома Р··· С···, но для чего ж оно было сделано!

«Сегодня жду вас обедать, — писала мне молодая Т···ская.— Вечером у меня будут гости, и в том числе госпожа Б., дама, известная умом и любезностию обращения. Советую вам познакомиться с нею тем более, что она сама интересуется знакомством вашим».

Т···ская не увеличивала: госпожа Б··· самая любезная женщина, какую я когда-либо знала. Пройду в молчании знакомство с нею — оно осталось одним из лучших. Ме-

ня приняли без восторга в первый раз, но и не провожали холодно в третий, всегда я была принимаема тут одинаково — ласково и вежливо.

Ко мне приехала родственница госпожи Н. Н··: «Я уже приезжала за вами, monsieur Александров. Родственница моя не дала мне покоя: поезжайте, отыщите где хотите Александрова и привезите его ко мне. Скажите, что я горю нетерпением узнать его, что я поехала б к нему сама, но что я больна. Скажите ему это и приезжайте вместе с ним непременно! Теперь позвольте мне надеяться, что я не уеду одна?»

Как отказаться от подобного приглашения! Сверх того, самой чрезвычайно хотелось познакомиться с этой дамой. Я знала хорошо брата ее. И так я поехала к ней в ту же минуту.

Дама, еще молодая и довольно приятной наружности, встретила меня с самою любезною вежливостию. «Я с таким удовольствием, — стала она говорить, — читала ваши Записки, с таким участием во все входила, мне казалось, что я сама была везде с вами и чувствовала то же, что и вы!» Я отвечала, как должно было отвечать на такое обязательное начало.

В этот день я не могла остаться обедать у госпожи Н. Н··, и так она взяла с меня слово, что я приеду к ней в воскресенье. «Я пришлю за вами карету, — говорила она, — и вы сделаете мне удовольствие, привезете с собою несколько экземпляров ваших книг. У меня просили их».

До воскресенья ничего замечательного не случилось, исключая, что я вынуждена была сама предложить господину Гл··ву купить у меня несколько экземпляров моих книг, потому что мой последний золотой давно уже превратился в мелкую монету, а из нее в ничто. К счастию, Гл··в взял двадцать экземпляров и прислал мне деньги.

В воскресенье я отправилась к госпоже Н. Н··, но ее не было дома; однако ж она скоро приехала, извинилась передо мною, говоря, что худо разочла время, полагая, что воротится скорее. «Сядемте за стол. Сегодня мы обедаем одни. На днях приезжайте ко мне, я познакомлю вас со многими из моих друзей, — они все очень интересуются вами. Впрочем, я думаю, что сегодня вечером у меня будут некоторые, останьтесь у меня до вечера». Я приняла предложение, потому что до вечера остава-

лось уже не более двух часов — так поздно мы обедали.

Послеобеденное время пролетело очень скоро. Разговор госпожи Н. Н··· был довольно жив и остроумен, а простое, непринужденное обращение ее мне чрезвычайно нравилось; оно, так сказать, развязывало мне руки и давало свободу говорить и поступать, как я привыкла; сверх того, еще оно очаровывало меня сходством своим с обращением наших полковых дам, любезнейших из всех прочих сословий дамских.

Вечером приехало много гостей. Милая хозяйка познакомила меня со всеми и обращалась со мною в продолжение всего вечера с самым лестным отличием.

«Приезжайте ко мне в четверг, приедете?» — спрашивала госпожа Н. Н··:, прощаясь со мною у дверей залы. «Приеду». «Смотрите же, непременно приезжайте. Я буду ждать в четыре часа».

Что за лживый человек этот Л···! По крайности час кривлялся он, щурился, хмурился, вертел головою, улыбался, ухмылялся и облизывался, пока, наконец, решился сказать цену, какую дает мне за все мои книги. Признаюсь, было отчего кривляться! При всей его бессовестности это были, однако ж, корчи совести. Он предложил мне по рублю за экземпляр.

Итак, вот блистательный успех! Вот быстрый расход моей книги! Дурна она! Дурна! Хорошие книги не залеживаются.

Настал четверг. Я поехала к госпоже Н. Н···. Вхожу — зала пуста: обыкновенно тут сидела молоденькая калмычка за пяльцами, — теперь ее нет; нет и француженки-компаньонки; нет молодой англичанки-надзирательницы. Прохожу в гостиную — нет никого! В кабинет — пусто и там! Возвращаюсь в зал, смотрю на часы — условное время: ровно четыре! Что ж сделалось с обитателями гостеприимного дома этого? Куда все они девались? Я ушла опять в кабинет, села в кресла против нескольких семейных портретов и рассматривала их красивые черты: вот бабушка госпожи Н. Н···, блиставшая некогда редкою красотою; вот мать ее, тоже красавица; вот отец ее, который считался одним из первых красавцев в государстве; какие прекрасные лица! Непостижима природа в своих изменениях: как странны переходы ее от красоты к безобразию! И за что, например, вот этим трем особам дано красоты чересчур! Отрасли их: одна

просто приятная наружность, но в которой ни одной черты нельзя назвать прекрасною; бесчисленному множеству людей дает лица дурные, ужасные, до отвратительности безобразные! Чем же те заслужили красоту? Чем эти навлекли на себя нечастие быть страшилищами? С целью делает это общая мать наша природа? По капризу? Случайность то или какая-нибудь отдаленная причина такого различия? Кто разгадает ни для кого не постижимое, никем не разгаданное?

Размышления мои были прерваны приходом дамы, заведывающей всею внутреннею экономиею в доме госпожи Н. Н.

«Ах, вы здесь? Я и не слыхала, когда вы приехали».

Я спросила ее, где госпожа Н. Н. «Поехала к княгине С···, своей кузине. Она отъезжает на той неделе в Москву, так госпожа Н. Н. хотела сделать ей какие-то поручения. Однако ж она воротится домой к обеду: она сказала, что обедает дома».

Я вышла опять в залу. Дама, говорившая со мною, ушла заниматься хозяйственными распоряжениями! На часах было уже пять. Не знаю, кто из нас смешнее: я ли с своею точностию являться именно в те часы, которые мне назначат, или госпожа Н. Н. с своею привычкою худо рассчитывать время? Я хотела было уйти, но вспомнив ласковое обращение госпожи Н. Н., не решилась сделать этого. Это еще не беда, что я должна подождать ее час лишний. Но вот уже и шесть, а хозяйки дома все еще нет! Экономка ее уходила, приходила и опять уходила. Для чего же я не ушла? Как можно! Я опять ушла в кабинет и опять уселась против портретов. Но вот, наконец, слышен шум на лестнице, в прихожей все зашевелилось, все пришло в движение. Я, однако ж, решилась ждать прихода хозяйки там, где была. Идут через зал, но это походка не дамы; это мужчина, и сверх того не один: двое молодых людей входят в кабинет, с любопытством устремляют на меня глаза и, наконец, кланяются, спрашивая: «Конечно, госпожи Н. Н. нет еще дома?» — «Нет, она еще не приехала».

В это самое время карета с громом подкатилась и остановилась у подъезда. Наконец, мы дождались госпожи дома. Вот она приехала, вот взошла на лестницу; входит в зал, видит меня и двух иностранцев, ее знакомых; она слегка кивает мне головою, говорит наскоро:

«Здравствуйте!» и оборачивается к иностранцам — этим двум молодым людям, только что пришедшим перед ее приездом: «Pardon, messieurs, я заставила вас ждать, mais j'ai èté si affairée ce matin; давно вы здесь? Il me semble, que le temps n'est pas encore si... Еще не поздно! Six heures et demi! * Мисс! прикажите давать на стол!» Сказав это, она прошла проворно в свой кабинет, оттуда в спальню и затворила за собою дверь.

Я стояла в изумлении: та ли это женщина, которая не могла успокоиться, пока не отыскала меня, которая так мило, так дружески обращалась со мною дня два тому назад? Подожду; может быть, она в самом деле слишком affairée **.

Пока я рассуждала сама с собою, стоя в зале на том же месте, на котором госпожа Н. Н. остановила меня своим быстрым кивком головы и мимолетным: «Здравствуйте», как заклинанием, она возвратилась и, ни на минуту не обращая ко мне своего внимания, занялась самым веселым и одушевленным разговором с двумя иностранцами. Сели за стол. Госпожа Н. Н. сказала мне: «Садитесь!» и указала рукою место близ одного из иностранцев, которых усадила обоих подле себя, одного с правой, другого с левой стороны, как гениев злого и доброго; и во весь обед неумолкно говорила с ними о театре, музыке, городских происшествиях, отъезде, приезде своих знакомых, кто у нее был и кто будет еще, где она была и куда еще намеревается ехать. Одним словом, это был гремящий ручей, который не переставал греметь и катиться в продолжение и до конца обеда.

Я уже не могла обманываться и видела, что меня считают наравне с теми, которые званием своим у госпожи Н. Н. осуждены сидеть за столом ее безмолвно. С ними не говорят потому, что они не разумеют ни материи, о которой говорят, ни языка, который принят в свете для всех возможных разговоров. Но по какому ж чуду стала я вдруг на одну доску с ними в мнении госпожи Н. Н.? с чего взяла она, что я не пойму ее жалкого пустословия? Напротив, я столько поняла его, что добровольно не взяла б в нем участия. Отчего же такое поспешное и совер-

---

* Извините, господа, но я была так занята сегодня утром. Мне кажется, что время еще не так... Шесть часов с половиной!

** affairée (франц.) — занята.

шенное разочарование? Не она ль сама говорила, что не имела покоя, пока не отыскала меня? Этому прошла только неделя, если не ошибаюсь! Что ж сделалось в благовонном уме госпожи Н. Н. в такое короткое время?

Тотчас после обеда я могла уйти беспрепятственно, мною никто не занялся. Госпожа Н. Н. прошла в кабинет с обоими иностранцами, беспрестанно говоря с ними и беспрестанно оборачивая голову то направо, то налево, то есть то к тому, то к другому. Я ушла домой. Так кончилось мое третие посещение обязательной госпожи Н. Н.

«Смею ли надеяться, что и вы будете в числе гостей моих, Александр Андреевич?» — говорил мне вежливый Е·р·а, когда карета его остановилась у ворот моей квартиры. Мы вместе были у одной ученой дамы, вместе вышли от нее, и, как на ту пору шел сильный дождь, то он и предложил мне доехать домой с ним в карете.

«В четверг ожидаю вас», — сказал он, кланяясь из окна кареты, которая поворачивала уже в обратный путь.

Четверг, — думала я, всходя на лестницу своей квартиры,— опять четверг! День этот не совсем счастлив для меня, для меня он превращается в понедельник. Но неужели на Е·р·а тоже найдет какая-нибудь дурь? Ведь он мужчина. Не приводилось бы, кажется.

Сегодня с утра идет мелкий дождь, чуть видный, но тем не менее успешный; улицы полны грязи, воздух холоден и сыр. Вечером я поехала к госпоже С···вой, которая-таки поставила на своем, взяла с меня слово проводить у нее всякий день, вечер или утро, что могу. Сколько я не противилась, сколько не спорила против такой несносной обязанности, кончила тем, что согласилась, и вот теперь, как будто дежурный по караулам, отправляюсь каждый вечер на главный пикет, «в Моховую».

Подъезжая уже к воротам госпожи С···вой, услышала я необычайный визг маленькой собаки, щенка. Я велела остановиться, встала с дрожек и пошла на голос. Близ забора стояла телега, и под колесом ее лежал щенок легавой породы, измокший, дрожащий, жестоко избитый. Он тщетно старался высвободиться из-под тяжести, его придавившей, трепетался лапками и визжал во весь

голос. Я освободила бедное животное, одна лапка у него вспухла, видно, от удара палкою. От ласк моих он перестал визжать, я укрыла его шинелью и с этою добычею приехала к своей приятельнице, и пока я сидела у нее, приемыш мой спал крепким сном. Теперь он живет у меня и будет, кажется, прекрасная собака.

Когда первая часть моих Записок пошла гулять по свету, то я смертельно боялась насмешливой критики наших журналистов, но сверх ожидания и даже сверх заслуг, главные из них отозвались об ней не только снисходительно, но даже и очень хорошо. Как бы это лестно было моему самолюбию, как бы радовало меня, если б эти тяжелые девятьсот экземпляров не ломили под собою стола моего, не служили видимым опровержением всех похвал и ничем неопровергаемым доказательством, что книга моя дурна.

Сегодня я прочитала, что в Записках моих много галлицизмов. Это легко может быть, потому что я не имею понятия, что такое галлицизм. Обвиняют издателя, почему не исправил их? Не мог! решительно не мог, не имел на это ни права, ни власти. Издатель при жизни автора ни господин, ни хозяин издаваемого сочинения и должен соображаться с волею настоящего властелина его. Я не только что поставила непременным условием моему родственнику ничего не исправлять в моих Записках, но еще и неусыпно стерегла, чтоб этого не случилось. Итак, все, что в них есть хорошего — мое и дурного — тоже мое. В них нет ни одного слова чужого, то есть не собственно моего. Этот же критик говорит, что описание моих походов очень скучно, монотонно, что никому нет надобности до них и что они не заслуживают быть читаны. Может быть, он и прав, но где ж набраться восторженных сцен на целые десять лет? Ведь сказал же кто-то, что всякая жаркая сцена, если продолжительна, делается смешна. И, наконец, все-таки он же называет титул моей книги водевильным! В этом последнем я не только что от души согласна с ним, но еще и обязана сказать, что в этом некого винить, кроме самой меня. Хотя титул этот придуман не мною, но я вместо того, чтоб найти его водевильным, напротив, очень восхитилась им и думала: вот теперь-то моя книга, с таким заманчивым названием, вмиг разлетится во все концы России!

Четверг. Дом недавнего знакомца моего, господина Е·р·а, грустно-великолепен; правда, что все в нем дышит вкусом и богатством, но и все так мертво, смотрит таким унылым одиночеством. В этих обширных, чистых, светлых комнатах нет главного — нет жизни! Глубокое молчание в них нарушается только изредка шелестом шагов задумчиво проходящего через них хозяина их. Окна закрыты почти всегда белыми шторами; никакой голос не вскрикнет в них радостно; ничьи шаги не раздадутся в них быстро и проворно; ни одна пылинка не поднимется с полу от чьего-нибудь веселого скачка. Как можно осудить себя на такую тоску, томительную тоску одинокой жизни, и осудить добровольно!..

Все внимание радушного хозяина было обращено исключительно ко мне. Я нашла много удовольствия в его разговоре, исполненном ума и остроты, и мне очень лестно было заметить, что несмотря на неусыпное старание занять и угостить всех своих посетителей, а особливо посетительниц, он поминутно обращался ко мне или с вопросом вежливым, или предложением обязательным.

В час за полночь общество разъехалось по домам; учтивый Е·р·а проводил всех до лестницы и, прощаясь со мною, убедительно просил продолжать наше знакомство, которое, говорил он, ставит себе за великую честь.

Во второе посещение я была принята радостно и учтиво; разговор наш был оживлен, скучных интервалов молчания не было, со мною говорили как с человеком, в котором предполагают много ума. Очарованная пленительным обращением моего нового знакомца, я простилась с ним и отправилась к госпоже С···вой похвалиться приобретением такого завидного знакомства.

— Что уж и говорить, mon ami,— сказала она со вздохом, выслушав описание богатого дома, блистательного вечера и внимательного обращения господина Е·р·а,— что и говорить! Счастливее вас мудрено быть. Только вы сами не знаете цены себе, не знаете прав своих и поступаете не так, как могли бы поступать, как бы должно было и как было бы выгоднее для вас несравненно.

— Это что значит? Вы пустились в рассуждения, мой добрый друг! Что с вами? Отчего вы не в своем обыкновенном расположении духа?

— Мне скучно! Кажется, я должна буду расстаться с Петербургом: сына моего не принимают здесь, — нет вакансий, впрочем, буду просить, может быть, еще переменят. Но что до вас, то я всегда то думала, что теперь сказала: на вашем месте я одевалась бы иначе, я не надевала бы ни сюртука, ни фрака.

Я расхохоталась.

— Ну, это в самом деле нешуточное обстоятельство, и стоит того важного вида, с каким вы объявили мне его! Что ж бы носили вы, если б были мною или на моем месте, как говорите вы, в чем ходили б вы?

— В венгерке! Этот воинственный наряд очень шел бы к вам и давал бы какой-то необыкновенный вид!.. А теперь, что в вашем сюртуке, между столькими дюжинами сюртуков, всякий примет вас за мужчину!

— Тем лучше, я этого только и хочу!

— За молодого человека!..

— А это уже всего лучше.

— Служащего в какой-нибудь канцелярии!

— Вот на это я уже не согласен! На это последнее я нисколько не похож. Вспомните, что у меня Георгий. Нет, нет, от последнего сравнения прошу уволить!

— Послушайте, mon ami, я сегодня в дурном нраве и очень расположена говорить ту правду, которая колет глаза. Хотите вы ее выслушать от меня?

— Сделайте милость! Хоть для редкости. Это будет отдохновением от тех похвал, которые роем излетают из уст ваших и роем носятся вокруг каждого из ваших знакомых.

— Ну хорошо! Слушайте же, надеюсь, не будете более укорять, что похвалою, как мечом, рассекаю каждого на части. Слушайте, да прежде положите шляпу, вы вечно наготове бежать.

Я положила шляпу и старалась принять важный вид, что было почти невозможно, потому что приступ к объяснению моей доброй и что-то не на шутку расходившейся приятельницы казался мне удивительно как похож на увещание, которое Сганарель делает дон Жуану и на которое тот отвечает: O, le beau raisonnement!.. * Я боялась, чтоб и мне не пришлось того же подумать, если

* O, le beau raisonnement! (франц.)—о, прекрасное рассуждение!

уже не сказать. Однако ж я села на стул и приготовилась терпеливо слушать.

— Ничто не обличает в вас, — начала говорить госпожа С···ва,— той энергии, которая таится в душе. В виде вашем нет ничего похожего...

Стукнула дверь, и у меня отлегло от сердца. Как я рада была, что пришедшие гости помешали продолжению этого смешно-торжественного рассказа или, лучше сказать, разбора моих недостатков. Я встала со стула, на котором сидела как wcezorowanego *.

— Прощайте, mon ami! Надеюсь, глаза мои до завтра никуда не денутся, и завтра они будут готовы на жертву вашим истинам; я прийду вечером.

С···ва ухватила меня за руки:

— Нет, нет! Ради бога, не уходите! Теперь все уже прошло. Ведь я сказала вам, что была в дурном нраве, и в этом состоянии мы обыкновенно смотрим на вещи неблагоприятно и видим их не такими, как они в самом деле, но такими, как показываются нам сквозь тот мрак, который на ту пору затемняет свет ума нашего.

— Все так, всему верю! Но, ради бога, дайте мне свободу идти отсюда, прощайте.

— Прощайте, упрямый человек!

Сегодня послала я своего мальчика к Гл··· спросить, не надобно ли ему еще сколько-нибудь экземпляров книги «Кавалерист-девица»? Вот как не завидна их участь! А обязательный Г-ч говорил, что к новому году не останется ни одного. Сколько еще новых годов пройдет прежде, нежели эта красная груда исчезнет наконец с моего стола! Правда, книг моих разошлось много, большая половина, но все это не в том виде, в каком бы должно было. Все это пошло то в уплату, то в награду, то за долг, то за труд, то за ласку, то за грубость, то сам уже бог знает один за что!

— Я знаю приятную новость для вас, mon ami, — говорила мне госпожа С···ва,— очень, очень приятную! сказать? Что дадите?

— Скажите даром, у меня ничего нет. Благодаря моей глупости, я теперь, кроме искреннего желания добра моему ближнему, ничего дать не могу. А это такая монета, которая не имеет никакого веса; итак, говорите даром.

---

* Wcezorowanego (польск.) — зачарованная.

— Хорошо. Вчера приезжала ко мне госпожа Т··ская, думала найти вас у меня и велела мне сказать вам, чтоб вы приехали к ней завтра непременно; что одна знатная дама ей как-то сродни или давно знакома, не знаю хорошенько, желает узнать вас и быть вам полезною; что дама эта очень богата, очень добра, очень умна, очень благодетельна, имеет необыкновенный образ мыслей, редкие качества и ко всему этому... Ну, да где все то пересказать, что говорила об ней Т···ская. Поезжайте сами к ней, как она просила, завтра непременно. Что ж вы так пасмурно слушаете мое донесение? Я думала вас обрадовать.

— Ничего, мой добрый друг, прощайте! Сегодня мне некогда сидеть у вас, я пойду к Е·р·а.

— Опять к Е·р·а? Да давно ль вы у него были?

— Недели две назад, но он просил меня бывать у него часто и запросто.

— Ну так прощайте, поезжайте же завтра к Т···ской.

Я шла задумчиво к дому господина Е·р·а: сколько уже знатных дам предлагали мне свое знакомство! Свое не прочное, не обязательное и на одном любопытстве основанное знакомство!.. Что мне в нем?

Подошед к подъезду дома господина Е·р·а, я позвонила. Отперли. «Дома господин Е·р·а?» «Дома». Человек побежал доложить, а я между тем вошла в залу. Чрез минуту пришел Е·р·а со шляпою в руке. Он сделал вид изумления, как будто приход мой был для него нечаянностию. Видно, человек не успел доложить, — думала я. Однако ж, шляпа в руке была такой талисман, который не позволял мне оставаться у господина Е·р·а долее одной минуты. Я простилась, сказав, что зашла к нему на секунду узнать только, куда переехали общие наши знакомые, семейство Р-х. Он сказал мне теперешнее их местопребывание, и мы вышли из дому вместе. Мне и на мысль не приходило, что шляпа в руке была один только отвод, которым посещение мое, как громовой удар, отведено было в сторону! Однако ж, это так было, я после узнала, что как только я повернула за угол дома, Е·р·а воротился. Это было третье посещение.

— Я не знатная дама, Александр Андреевич, не могу прислать за вами кареты, знакомство со мною не польстит вашему самолюбию, но если вы будете так снисходительны, что приедете ко мне, то я надеюсь, что не будете

раскаиваться, сделав эту честь. Поверьте, поверьте, что я буду уметь оценить ее...

Так говорила мне молодая и прекрасная госпожа Гиз..., пожимая руки мои и смотря в глаза мне своими до очарования прелестными темно-голубыми глазами, со всем выражением искреннего дружества.

— Пожалуйте ко мне завтра.

— Извините, завтра не могу, но я приеду к вам, как только буду иметь возможность это сделать. Когда можно застать вас дома наверное?

— Всегда; я не веду рассеянной жизни.

— Итак, я постараюсь быть у вас, как могу скорее.

Через неделю случилось мне быть в той части города, где живет госпожа Гиз... Хотя еще было довольно рано для жителей, особливо для жительниц Петербурга, не более десяти часов утра, однако ж, я решилась зайти к ней... Как описать восторг, с каким бросилась мне навстречу милая хозяйка? Она только что встала.

— Что вы лучше любите кушать поутру? Чай, кофе или шоколад? — и не дождавшись моего ответа: — Подай всего, Прасковья! — кричала она в дверь девичьей комнаты, — всего! Слышишь ли? И самых густых сливок, и самых лучших сухарей! Побольше, да чтобы завтрак был готов!

Я невольно рассмеялась.

— Вы, кажется, собираетесь кормить меня, как Милона Кротонского. Я, однако ж, не имею такого знаменитого аппетита и выпью у вас одну только чашку шоколаду, если позволите!

— Ах, боже мой!.. Если позволите? Что за выражение! Я без памяти рада, что вы наконец у меня, и все, чтоб не предложила вам, кажется мне так мало, так ничтожно! А вы говорите: если позволите!

— Да зачем же вы так буквально принимаете это слово? Так говорится.

— Не говорите же со мною, как говорится.

Через час я ушла, дав слово приехать на вечер.

Приятно быть таким гостем, каким была я на этом вечере. В среднем кругу смелее нежели в высоком; спрашивали меня то о том, то о другом, как будто выходца с того света; утешаясь новостью этих расспросов, я, однако ж, как прилично доброму товарищу, хранила тайны моих давних друзей.

Не постигая еще роковой тайны третьего посещения, я поехала что-то очень скоро после этого веселого вечера к голубоокой госпоже Гиз···. Она была одна, но вскоре пришел муж ее и еще одна из искренних приятельниц. Восторг хозяйки приметно утих; она встретила меня обыкновенными приветствиями и церемонным предложением садиться. Все это было в странной противоположности с прежним приемом, а особливо с моею теперешнею дружественною фамильярностью, с которою я, так сказать, влетела в чистую светлую гостиную госпожи Гиз···

Видя себя в необходимости смотреть на вещи несколько холоднее, я приняла предложение хозяйки сесть и стала замечать оттенки постепенного изменения в поступках и разговоре обязательной госпожи Гиз··· Она решительно не находила, что говорить со мной. Я тоже, потому что эта милая дама вовсе не образована; всякая материя, если она не о хозяйстве или городских новостях, будет для нее курс алгебры. Однако ж, она имела столько природного ума, чтоб понять, как некстати будет ее молчание. И вот, начиная томиться, пискливо-жалким голосом говорит мужу, поминутно то подымая глаза кверху, то есть на супруга, то опуская их вниз.

— Что, друг мой, вы сегодня где кушаете?.. У вашего начальника или у графа С···?

— Нет, милая, ни у того, ни у другого, — отвечал удивленный муж. — Я обедаю дома, но с чего ты взяла, что я буду у них? К этим людям надобно быть приглашену, чтоб обедать у них.

— Мне показалось, что ты вчера сказывал, будто твой начальник приглашал тебя.

— Напрасно показалось, никто не приглашал.

Муж и жена замолчали. Наконец хозяйка опять начала и все тем же тоненьким писком:

— Давно были, Марфа Ивановна, у Палагеи Петровны?

— Вчера, — отвечала гостья, умная и насмешливая девица лет двадцати, — вчера была у нее. Вы не поверите, милая, как она сделалась нестерпима! Все пищит, нежится, слова не скажет человеческим голосом. Во все время, пока я сидела у нее, мне казалось, что я слышу мяуканье кошки умирающей... смешная женщина!

При этих последних словах злая девка взглянула на меня значительно и тотчас обратила взор на хозяйку

с такою явною ирониею, что я право испугалась за нее и потому, оставя их разыгрывать свою драму втроем, простилась и уехала с тем, чтоб уже более никогда не приезжать.

«Для чего вы не познакомитесь с генералом П···, Александр Андреевич? — спрашивала меня любезная госпожа Б··· — Ему это будет приятно, я знаю наверное; право послушайтесь, жалеть не будете. Господин П··· один из тех людей, каких, по справедливости, надобно искать с фонарем».

И кроме госпожи Б., я слышала от многих других о редких качествах генерала П. Уверенность, что ему приятно будет узнать меня, заставила меня последовать совету госпожи Б. и ехать к нему.

Никем еще не была я так очарована, как им; я нашла в нем то, чего еще никогда и ни в ком не находила: ум, светлый без малейшего пятна, с самою пленительною добротою сердца, разговор его увлекателен, и я полагаю от той натуральности, той прекрасной простоты, которая так завидна, так неподражаема и которая справедливо может назваться лучшим даром природы; это преимущество слова как нельзя лучше гармонирует с его благородною наружностью и глазами, полными огня, ума и чувства!

Чрез неделю приехала я опять к генералу П. вечером уже. У него было много гостей, он встретил меня очень вежливо и благодарил за честь, которую я делаю его вечеру своим приездом. С начала и до конца внимание любезного хозяина было постоянно, он сказывал мне имена своих гостей, которые были значительнее прочих, со многими познакомил меня, и я не видала, как наступил двенадцатый час, — пора, до которой я, не играя и не танцуя, не знала б как досидеть, если б обязательное обращение хозяина не сделало для меня этого времени одною минутою.

Я уже никак не думала, что и в господине П. найду перемену при третьем посещении! Скорее поверила бы разрушению мира, нежели возможности такого случая; одна мысль об этой возможности опечалила б меня. И так, с полною уверенностию в одинаком расположении ко мне господина П., в его неизменной ласковости, внимании, вежливости, простоте, любезности, поехала я опять к нему на вечер. Видно, на этот раз я приехала

довольно поздно, потому что почти все уже гости сидели за картами. Хозяина я отыскала в другой комнате, разговаривающего с теми из гостей, которые еще не играли; на поклон мой он отвечал поклоном... и только! Нет разговора, нет внимания, нет обязательной услужливости! Он весь предан этим старикам, с которыми сидит теперь. Подожду, может быть он подойдет ко мне, как усадит их за карты; но, впрочем, для чего б ему не познакомить меня с этими господами? Я могла б взять участие в их разговоре, верно, они говорят не о такой высокой материи, что я не могла бы уже и выразуметь их.

Наконец, старые дипломаты уселись за вист. Хозяин свободен! Он идет мимо дивана, на котором я сижу одна, проходит его, не оборотя ко мне головы, не взглянув на меня! Я оставалась еще с полчаса в этом собрании, и, к величайшему изумлению моему, во все это время взор хозяина ни на секунду не обратился ко мне: все равно, если б я и не была тут. Я уехала, но не с тем ощущением в душе, с каким уезжала от ветреной госпожи Н. Н., предпочитавшей мне своих иностранцев, не с тем, с каким рассталась с тонким политиком Е·р: а, поставившим шляпу свою щитом против меня; одним словом, прежние несообразности в приеме и обращении удивляли меня, иногда смешили, но нисколько уж не опечаливали; я оставляла знакомства этих людей, никогда не возвращаясь к ним мыслию... Теперь я была опечалена в настоящем смысле этого слова! Я решилась не ездить более к господину П., но никогда не могла забыть его первого и второго радушного приема и никогда не могла утешиться о потере, как заметно, его доброго мнения в третий! Ах, люди, люди, как несчастна природа ваша! Всегда злое начало найдет сокровенный путь испортить доброе... Третье посещение господина П. покрыло облаком грусти остальное время и действия мои в столице; я уже очень равнодушно слушала о желании познакомиться со мною, не замечала, не радовалась, как бы ни был лестен прием сначала, и нисколько не дорожила, если надобно было раззнакомиться.

Ученый господин Р. в отношении ко мне прошел ту же дорогу, как и другие. Также два раза была я любимым, замечательным гостем, а в третий могла б заснуть от скуки, если б тотчас не ушла.

Много было и еще лестных предложений, восторженных уверений, блистательных приемов, но все не иначе как для двух первых посещений; для третьего насмешливый случай или враждебная судьба подготавливала мне или спазматическую зевоту хозяйки, или иностранца, которого надобно было носить на руках, или старую важную даму, или, наконец, провинциальную родственницу, которая, чтоб показать, что и она смыслит кое-что в обычаях столицы, принимает на себя глупо-важный вид, молчит, как будто потерявшая на тот раз употребление языка, и следит меня глазами с явным выражением недоброжелательства и насмешки... жалкие существа!

«Зайдите ко мне, Александр Андреевич,— сказал мне барон К., встретясь со мною близ Казанского собора. — Семья моя вся в городе, я вот только на минуту зайду в магазин Смирдина и сейчас буду дома. Пожалуйста, зайдите, к нам приехали гости». Это было в третий раз.

Ободренная воспоминанием ласки, дружбы, вежливости, оказанных мне приятным семейством барона К. в первые два посещения, я вошла к ним очень свободно и весело, что было бы чрезвычайно хорошо, если б это не было посещение третье; но при этом роковом числе уверенность моя в себе сделалась очень неуместна и смешна: на мою свободную поступь и поклон баронесса отвечала едва заметным наклонением головы и холодным «здравствуйте!» Не получая ни от кого приглашения сесть, я сделала б это и без просьбы, потому что нельзя же мне было уйти в ту же секунду, а стоять как часовому тоже не приводилось как-то; но напрасно взор мой пробегал комнату, чтоб найти свободный стул; все были заняты дамами, на одном только сидел мужчина, молодой и военный; я уверена, что в первое и второе посещение он вежливо предложил бы свое место, но как это было заколдованное третье, то он и не пошевелился: я была в затруднительном положении; наконец, старшая дочь баронессы встала с своего места, прося меня занять его, и перешла к группе девиц, сидевших у окна. Я села близ хозяйки; против меня сидела какая-то дама, которой я прежде не видала у них; на лице ее четко выражалось, что она из провинции. Она смотрела на меня, как говорит простой народ, «дзызом»! Дерзкая насмешка

дышала во всех незначительных чертах ее, впрочем, довольно недурного лица.

Я была уже оскорблена унизительным приемом и холодностию баронессы, полагая справедливо, что если б хозяйка приняла вежливее, то и гости ее были б рассудительнее: недальний молодой человек отдал бы мне свой стул, ее смешная провинциальная родня не искажала б черты свои, стараясь принять какой-то вид, которому и сама не знает, какое дать название или определение. Сердце мое полно было досады, и я решилась проучить хоть эту, залетевшую издалека. Если у нее есть, думала я, хоть искра общего смысла, так она поймет меня.

С этой благонамеренною целью, не обращая уже никакого внимания не непритворную грубость милой хозяйки, начала я рассказывать, какой случай дал мне понятие о том, до какой степени женщины худо знают свои выгоды, принимая насмешливый вид, который портит лицо хорошее и делает отвратительным посредственное.

«В первый год моей отставки, — начала я говорить, оборотясь к баронессе, — жил я здесь, в Петербурге, и был очень хорошо принят в доме князя Д. и приезжал к нему почти всякий день; как обращение князя было всегда одинаково с его знакомыми, то его все любили и круг его был очень обширен; между короткими знакомыми была одна дама, княгиня Х., молодая женщина, наружности, как мне казалось, обыкновенной, холодной и которой главным выражением была самая противная насмешливость. Я не терпел эту женщину и именно потому, что всякий раз, как глаза ее встречались с моими, я читал в них злобу и насмешку. С полгода был я вседневным гостем князя Д. и во все полгода думал, что княгиня Х. дурна лицом, такую сатанинскую мину давало ей насмешливое расположение ума ее. Но в один день у князя было что-то много гостей; случилось так, что нас большая толпа сошлась у камина; в эту минуту входит княгиня Х.; она подходит к нашей группе, смотрит на меня, кланяется, и, к изумлению моему, я вижу, что она как ангел хороша! Физиономия ее сделалась пленительна, кротка, добродушна, ласкова и со всеми этими чарами кланяется мне! Что это значит? Она никогда мне не кланялась прежде... После это объяснилось: она не

узнала меня, я показался ей кем-то из ее знакомых, но от той поры я уже знал, что княгиня Х. хороша собой и что одна только насмешливая мина, с которою она смотрит на меня, на одного только меня, делает ее похожею на молодую мегеру».

Окончa свой рассказ, я устремила глаза на провинциалку с тою силою воли, о которой так много толкуют в магнетизме, и имела удовольствие видеть, что она не выдержала моего взгляда и что насмешливая мина сбежала долой с лица ее. Довольная успехом своего мщения, я простилась с баронессою с тем, чтоб не только не быть у нее никогда более, но и не смотреть на дом ее, если б случилось проходить мимо.

«С вами очень желает познакомиться Т., — сказала мне княгиня Ю. — Поезжайте к ней, это очень милая дама». «Я, кажется, знаю ее, княгиня, она ведь дочь К.?» — «Да!» — «Я часто видал ее в доме ее матери». — «Ну, так чего ж лучше? Возобновите старое знакомство, поезжайте к ней завтра же. Она живет...» Княгиня сказала мне, где найти госпожу Т., и была уверена, что я непременно поеду к ней, но я имею причину думать, что это старое знакомство будет ничем не лучше новых: пятнадцать лет тому назад я была довольно часто у старой К., ее матери, которая в один день заставила меня идти от нее пешком, в проливной дождь; тогда как у нее всех родов экипажей были полные каретники! Хоть бы уже имела совесть притвориться, что не видит дождя, а то еще спросила: «Как же вы пойдете в такой дождь?»

Против холода, каким навевало от меня в третье посещение на сердце, ум и способности моих знакомых, устояли только трое: госпожа Б-ва, любезная и умная женщина, всегда и со всяким одинаково вежливая, расположенная делать добро сколько от нее зависит; хоть она и позволяла себе иногда посмеяться в своем кругу над чьею-нибудь странностию, и смеялась всегда очень остро, умно и — не обидно, но эту веселость я никогда не причитаю в порок даме умной: почему не позволить себе острого слова или описания, веселящего друзей наших и не оскорбляющего никого?

Приветливый К. Д-в был второй, который остался одинаков со мною во все посещения, и, наконец, превосходнейшая женщина по уму и сердцу, княгиня Ю. С этою редкою дамою не было третьего посещения, напротив,

все они были первые! Ни на минуту не изменялась ее доброта и вежливость; она не имела нужды искать, что говорить со мною; разговор ее всегда был обязателен, жив, исполнен ума и остроты.

Я ограничила свой круг знакомства этими тремя домами, бывала довольно часто в двух первых и очень часто в последнем.

Между тем случалось иногда не остеречься и, забывшись, попасть опять на третье посещение.

«А, здравствуйте! не хотите ли с нами завтракать? Эмма, подвинься... Садитесь вот тут, вот между нами!»

Мне подают прибор, добродушно потчуют всем, что есть на столе, я ем... «Начало хорошо!» — могла б я сказать, как Гиппельдонц в Эпиграмме, и стала уже думать, какие редкие, превосходные люди Н. И.! Как мила и обязательна простота их обращения и как она прилична их знатному роду!

В самом деле, я всегда думала, что это неподражаемая «belle simplicité» * — неотъемлемая принадлежность истинно образованных людей — должна исключительно отличать знатных людей от тех жалких parvenus **, которые не знают уже как манериться, чтоб дать себя заметить.

Пока я думала, говорила и ела, завтрак приходил к концу. Но вот и еще посетитель: наружность его показывала что-то похожее на род домашнего друга, исполняющего разные поручения.

«А, здравствуйте! Не хотите ли завтракать с нами? Садитесь вот тут! Эмма, отодвинься...» «Не угодно ли занять мое место», — сказала мисс Эмма, вставая. Пришедший сел молча и принялся кушать. Фамильярность, с которою приняли новопришедшего, заставила меня посмотреть на него внимательно.

Ничто в нем не оправдывало дружественной короткости с ним людей знатных и богатых, приемы его показывали доброго, простого человека, чиновника какого-нибудь судного места; он молчаливо ел все ему предложенное и вполголоса отвечал на вопросы, которые делались ему изредка то гувернанткою, то ребенком лет

---

* belle simplicité (франц.) — милая простота.

** parvenus (франц.) — выскочка.

шести; говоря с последним, он не смел и подумать сказать иначе как: «вы!.. вам!.. где изволили быть?»

Сообразя все это, я сделала заключение, что это существо ума ограниченного, не образованное, простое, в высоком кругу появляющееся как вьючное животное, чтоб взять на себя кипу разного рода поручений или сложить принесенную и опять отправиться в свой приют. Итак, восклицание «а, здравствуйте! здравствуйте!», которым встретили меня и его, и ласковый, веселый вид не были знаками дружеского расположения, ни даже знаками уважения; это была та короткость, которою вовсе нечего гордиться.

Пока я, думая это, старалась поскорее съесть порцию, положенную мне мисс Эммою, чтоб встать из-за стола в одно время с другими, зала опустела в две секунды: все ушло и все куда-то нырнуло, не обратя ни малейшего внимания на то, что я, некогда столь желанный гость, пришедший теперь на беду свою в третий раз, остаюсь в лестной компании лакеев, собирающих со стола! Испугавшись такого нежданного превращения из уважаемого гостя в мелкую тварь, которую можно оставить без церемонии, entourè de canailles *, я бросила все и убежала.

— Что ж, Александр Андреевич, когда я дождусь вашего посещения? Вы обещали быть у меня, тому уже месяц.

— Я и был у вас.

— Да, но я тогда не была дома.

— Однако ж я приезжал именно в то время дня, которое вы назначили.

— Так, но что ж делать, за мной заехали.

— Вы могли сказать заехавшим, что ожидаете меня.

— Я надеялась, что вы извините меня и пожалуете в другое время.

— А если в это другое время опять кто-нибудь заедет за вами?

— Неужели это всегда будет случаться! Вот вчера я целый день была дома, у меня болела голова; что вы не приехали?

Я вышла из терпения и отошла от несносной женщины; и все эти глупости, все эти приглашения, исполнен-

* entouré de canailles (франц.) — окруженную сбродом.

ные невежливости, все это последствие проклятых третьих посещений!

После всякого третьего посещения я бываю очень похожа на того устаревшего льва, которого приходит бить осел. Все те, которые в пылу первого и приятной теплоте второго визита оставались не замеченными мною, в третий раз убивали меня своими разговорами, нелепыми вопросами, неприятным и смешным вниманием, и все это с самым лучшим намерением занять меня, потому что обязательные хозяева, расточавшие мне ласки свои в первые два посещения, в третье совсем и не видали уже меня.

«Куда же вы уходите? Ужинайте здесь!» — «Вы все едете на бал, с кем же я останусь?» — «Дома остается гувернатор, гувернантка и Леночка *». Это сказали мне в том доме, в котором в первое посещение подводили каждого гостя и гостью, позначительнее других, знакомиться со мною.

Я, право, боюсь помешаться в уме от этих третьих посещений! Какая причина такому изменению? Почему все, что я говорю в первое посещение, подает им выгодное мнение об уме моем? Почему так много разговаривают, так много ласкают, так много знакомят со мною во второе посещение? Почему все исчезает невозвратно в третье?

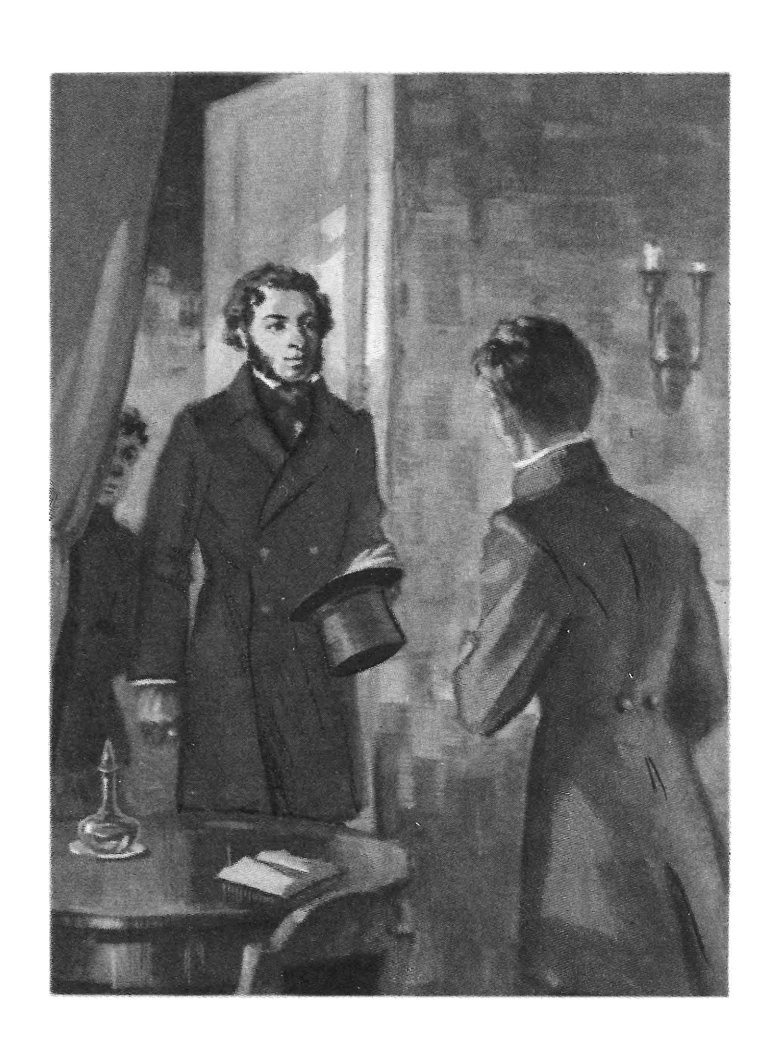
«Ах, боже мой, ни двух минут не могу я!» — «Мне надобна одна». Так встретил меня генерал Н. Н., и так отвечала я, не показав вида того, что почувствовала при этом предуведомлении, так неуместном и так мало сообразном с его обыкновенною вежливостью. Я в самом деле пробыла у него одну минуту и ушла.

Нрав мой начинает портиться от всего, что я испытываю здесь; мне пришлось узнать очень не вовремя, что для корыстолюбия и эгоизма людей нет ничего святого.

Я продала книги свои за самую умеренную цену, но и той была рада, как золотому руднику, и тою была обязана бескорыстию С-на, потому что я отдала б и еще дешевле: я боялась, чтоб мне не пришлось топить камин моими Записками.

Разочарованная совершенно, я платила всем тою же

* Дитя трех лет. (Прим. автора.)



К стр. 97

самою холодностию и невниманием, какое испытала сама.

Наконец, и клевета сделала мне честь, устремила свое жало против меня — в добрый час! Это в порядке вещей. Добрая приятельница моя, госпожа С-ва рассказывала мне, что в каком-то большом собрании говорили о моих Записках и Пушкин защищал меня. «Защищал! Стало быть, против меня были обвинения?»

«О, да еще какие!» — «Не знаете ли кто именно, мужчина или женщина?»— «Не знаю, mon ami, да что ж вы стали так невеселы? Неужели имеете малодушие считать за что-нибудь важное вранье ничтожных завистников? Э, mon ami, платите им тою же монетою, какою платит им и публика, поверьте, что хотя свет и слушает клеветника, подчас и верит ему, но презирает его, как существо низкое и вместе бессильное!»

«Не совсем бессильное! Я теперь угадываю и начинаю чувствовать по всему, что есть какая-то гадина, которая пресмыкается по следам моим и подсекает основу моего счастия».

«Ха, ха, ха, как трагически! Много чести, mon ami, для всякого глупца, чтоб он мог иметь силу подсечь основу вашего счастия! Имейте сколько-нибудь доверия к здравому смыслу общества и также к могуществу истины; оставьте без внимания вздор, который, как болотное испарение, или разнесется ветром, или опять уляжется в ту грязь, из которой поднялся».

«Вы хорошо говорите, мой добрый друг, и очень справедливо; я это чувствую, но все лучше было бы, если б вы не сказывали мне о разговоре в обществе княгини Б-й».

«Вы странный человек, Александров! Почему хотите вы быть исключены из общей участи людей? А особливо тех, которые чем-нибудь привлекают к себе внимание публики? Она действует в отношении к вам так же, как действовала веки тому назад, в отношении ко всему, удостоившемуся ее цензуры: добрые хвалят, злые порицают, благородные дивятся, восхищаются, подлые чернят, клевещут, умные разбирают, оценивают, глупые кричат во весь голос: «все дурно!» — так возможно ли давать какую-нибудь цену тому, что не стоит ничего? Я уже вам сказала: клеветника слушают, верят ему до времени, но в душе презирают его. Дайте время пройти этой черной

полосе; небо прояснится и клеветники останутся тем, что они были, есть и будут: презренными лжецами, хотя б они имели всю хитрость хромоногого Лесажева беса».

— А вы читали его?

— Читала и от души хохотала над некоторыми пассажами.

— Прощайте, мой друг.

— Куда ж вы, куда? Вы настоящий дикарь стали! Ну, куда вы бежите?

— Домой.

— Что делать?

— Писать.

— Браво! И вы имеете столько смелости! А цензура! А клевета! А критика! А насмешка! Как у вас достанет духа стать против всего этого?..

— Это ведь не Записки. Это история несчастной Елены, о которой я как-то вам рассказывал.

— А, помню, помню! Я же ведь и посоветовала вам описать ее.

— Да, и так я надеюсь, что брошюрка эта не будет замечена злыми умами, а впрочем, если б и была, если б и сказали, что это вымысел, так еще тут нет большой беды.

— Да нет ее и ни в чем, mon ami, поверьте же мне ради бога! Как, вы хотите, чтоб все люди одинаково мыслили, одинаково смотрели на вещи! Возможно ли это? Право, я уже устала доказывать вам, что болтовня на ваш счет не стоит минутной досады, не только этого пасмурного вида, с каким вы более получаса гладите перчаткою свою шляпу и смотрите на нее, не сводя глаз!.. A propos *, мои советы бывали иногда и хороши и полезны; хотите ли сделать, как я скажу?

— Увижу, скажите.

— Вот что: или бросьте под стол все вранье, которое позволяют себе какие-нибудь в чернилах воздоенные, или поступайте à la отчаянный улан!.. то есть...

Госпожа С-ва сделала движение рукою, которое заставило меня рассмеяться.

Поправит ли этот поступок зло, мне сделанное?.. Это было бы только наказание клеветы, но не уничтожение ее.

---

* A propos (франц.) — кстати.

— Ну вот видите, так не вышло ль на мое, что надобно дать волю врать что угодно, и верить кому и чему угодно? Платите презрением, mon ami, платите презрением!.. платите совершенным невниманием!.. Ах, для чего я не на вашем месте, для чего я не вы! Никогда низкая клевета не достала б меня на той высоте, на которой я держалась бы собственным мнением о подвиге, хвалимом некогда людьми, против которых порицатели ваши меньше собаки, как говорят персияне.

Окончa утешительную проповедь свою, госпожа С-ва вырвала у меня из рук шляпу, сказав, что решительно не пустит меня домой: «Я ожидаю этого вечера одного старого ветерана, отставного гусара, вы должны его видеть и с ним познакомиться».

По нескольку раз в день вынимаю я перстень, пожалованный мне государынею, и рассматриваю его: как он хорош, какой блеск от этих бриллиантов! Как бы я желала подарить его сестре! Нельзя, однако ж, надобно продать: денег у меня мало, а кто знает, что мне дадут за мою Елену? И дадут ли еще?

Со всех сторон пишут, прося прислать им денег: забавное требование! денег... от меня... а я вот сию минуту иду в Кабинет просить, чтоб купили у меня мой перстень.

День был солнечный, и я всю дорогу любовалась блеском драгоценной вещи, на которую смотрела в последний раз.

Перстень мой куплен, деньги я получила и отослала, написав ко всем письма одного содержания: вы почитаете меня Крезом, а я боюсь сделаться Иром.

Княгиня Т. В. досаждает мне своим суждением так сильно, что я ухожу от нее с каким-то неопределенным желанием не так часто появляться на глаза ее, впрочем, это движение сердца минутное! Княгиня эту решимость своих сентенций выкупает превосходным сердцем, еще более превосходным умом и обращением, как нельзя более обязательным. Прежде нежели я дойду домой, чувства мои опять становятся такими, как были: опять я люблю княгиню всею душою.

Сегодня я была, однако ж, опечалена словами ее; правду говорят, что не надобно никогда распространяться о своих невзгодах, я забыла это благоразумное пра-

вило и что-то слишком разговорилась о всех неудачах и ошибочных мнениях своих, о неуместном доверии, о большой потере, одним словом, я, кажется, вывела из терпения добрую княгиню, и она отвечала на все мои элегии, что она, как ей кажется, нашлась бы в каждом обстоятельстве жизни! Умела бы сообразиться с участью, какую назначило б ей провидение, и никогда не позволила б року угнетать себя, потому что никакое бедствие не считала бы бедствием невыносимым. «Я противоставила бы всему злому оплотом твердость души!» — говорит она мне, и я думаю иногда, что она права, что я слишком уже близко к сердцу принимаю всякий вздор, а иногда кажется мне, что ее сиятельство более моего досадовала бы, если б так во многом обманулась и увидела б невозвратно испорченным лучшее дело свое; если б ее так преследовали глупыми выдумками и, наконец, если б она испытала, как я, сладость третьего посещения!.. Вряд ли философия ее устояла б против всего этого.

Иногда она противоречит сама себе, и это, я думаю, бывает тогда, когда она увлекается сожалением, что дело, обещавшее так много, кончилось ничем. Вчера она говорила мне: «Как же вы так худо распорядились вашими Записками, что они принесли вам выгоду смешную! Иначе нельзя назвать всего того, что вы за них получили, а вон посмотрите, что доставил роман··· господину З.: он купил себе деревню под Москвой. Почему же вы так не сделали? Книга ваша интересовала всех, для чего вы так худо действовали?»

— Потому, княгиня, — отвечала я, — что у меня не было главного: опытности, известности в свете господина З.; у меня не было той толпы друзей и доброжелателей, которых приобрел себе господин З. задолго еще до сочинения своего прекрасного романа; вообще нет никакого сравнения между мною и З.; это литератор, которого заманчивое перо давно известно публике, а я что? Человек без опытности именно в том деле, за которое взялся; без друзей и знакомых именно в том месте, где должен был действовать, и сверх того с смешною доверчивостию, с смешною уверенностию, с смешною недоверчивостию, с смешными опасениями! И все это невпопад, все это не там, где должно!

Вот еще третье посещение! Долго ли это будет? Нет,

нет. Даю себе честное слово нигде не быть в третий раз! Тут действует какое-то очарование.

Старая генеральша Щ., недавно приехавшая из провинции, на беду мою как-то услыхала обо мне: «Ах, познакомьте, пожалуйста! Это очень любопытно! Какая диковинка! Пожалуйста, пожалуйста! Поезжай, милый, ты ведь знаком с нею, скажи, что твоя бабушка, генеральша Щ. желала б иметь удовольствие видеть особу, столько замечательную по своему... по своему... ну там уж скажи, как знаешь, только привези мне ее».

Так говорила великолепная генеральша Щ. своему внуку, очень любезному молодому человеку, с которым я была знакома и иногда разговаривала с ним на вечерах у господина П.

Молодой человек приехал ко мне:

— Бабушка моя Щ. просит вас сделать ей честь, пожаловать к ней откушать. Не откажите ей в этом угождении, по летам она имеет на него право. Она в таком восхищении от ваших Записок и вчера еще читала их в другой раз... Мы смеялись потихоньку, видя, что она задумчиво качает головой и говорит про себя: «бедный Алкид!»

— Зачем же вы смеялись? Разве можно смеяться над бабушкою?

— Что делать! Удел молодости — ветренность!.. итак, позволите прислать карету за вами?

— Очень хорошо! Мне приятно будет узнать даму, которая жалеет моего незабвенного Алкида.

Знакомство это началось и кончилось так же, как и прежние: то же внимание, участие, вежливость, радушие в два первые визита и та же сухость, холодность и даже грубость в третий и последний; впрочем, старая провинциалка превзошла всех: она в продолжение моего несчастного третьего посещения зевала, потягивалась, читала книгу, мурлыкала какую-то песню, призвала управителя, расспрашивала его о закупке съестных припасов, о здоровьи лошадей и отдавала какие-то приказания насчет мамки, няньки, Ваньки, Таньки и еще каких-то людей или животных, бог ее знает.

Я всё сидела; я была уже знакома с превращениями из почетного гостя в нечто меньше собаки, и грубость, глупость, невежество нисколько не оскорбляли меня, я не ставила их ни во что.

Проделки старой дамы казались мне так забавны, что я решилась полюбоваться ими четверть часа лишнюю. Наконец, почтенная генеральша, казалось, совсем забыла, что я сижу в ее комнате; я было подумала, что это и в самом деле так, но неловкая провинциалка не умела сыграть своей роли как должно и дала мне заметить, что она хотела представить знатную даму, не замечающую присутствия мелкого посетителя: она притворилась читающею очень внимательно свою книгу... Смешная женщина! Позабавившись этим зрелищем, я подошла к ней, приметно было, что она ожидала этого, потому что я не успела еще сказать ей, вежливо кланяясь «простите», как она уже отвечала, не отводя глаз от книги и не пошевеля даже головою: «Простите... приходите...». Речь осталась не конченною; ее превосходительство снова углубилась в свою книгу, я ушла.

Год прошел, наступил другой. Я давно уже ограничила знакомство мое тремя домами и не принимаю ничьих приглашений отобедать, на вечер; и на все намеки: «Ах, как желает видеть вас такая-то!.. Меня спрашивают, где вы чаще бываете. Что вы не познакомитесь с такою-то, она очень интересуется вами!» — и еще много похожих на эти восклицания и вопросы слышу я у моих знакомых и всегда отвечаю на них одно и то же: «благодарю!.. не могу!» Бывают и решительные приступы: после слов «благодарю, не могу» настоятельное требование — «Поезжайте, поезжайте непременно! Я за вас дала слово, что вы будете к ним», и говорят день, когда именно. Холодный поклон и молчание служат ответом и подтверждением первых слов.

Думая и передумывая о всех странностях, каких я была предметом и свидетельницею в столь многих домах, кажется мне, что я наконец разгадала тайну. Как жаль, что разгадала ее поздно, как жаль, что дошла до этого опытом, а не рассудком! Жалкое ослепление! Смешное легковерие!..

Теперь я слушала бы все то, что мне было говорено в первый раз точно так, как какие-нибудь форменные фразы, введенные обычаем, но не имеющие никакого определенного смысла и которым верить было столь же глупо, как если б кто поверил подписи «ваш покорнейший слуга» и принял бы ее в буквальном смысле.

Если б я потрудилась обдумать, на что именно имею я право в обществе, то увидела б ясно, что имею его на одно только любопытство.

Нет сомнения, что в первое свидание точно всякий хорошо расположен ко мне и точно желает быть знаком, потому что я, как и все, вышедшее из обыкновенного порядка вещей, возбуждаю какое-то участие, желание узнать лучше, сблизиться, разгадать и, наконец, показать свою находку друзьям, родным, знакомым; от этого последнего обстоятельства происходят те просьбы продолжать знакомство, те уверения в искреннем расположении, те приглашения на обед, на вечер, запросто когда; но как достигнут цели позабавить друзей своих зрелищем существа, перешагнувшего за черту обыкновенности, тогда начнутся толки и рассказы: «Мы вчера обедали у княгини Н. Н., она приглашала нарочно, чтоб посмотреть...» и называют меня. — «В самом деле! Так вы видели? Ну что, какова она собой? хороша?»—«Нет». «Воспитана?» — «Нет». «Может быть, очень умна?» — «Нет». А между тем я, о которой так расспрашивают и на которую сыплются все возможные «нет», являюсь к княгине Н. Н. в третий раз! Тут и клевета, которая от яркого света двух первых посещений пряталась под порогом, после третьего смело поднимает свою голову, показывает желтое лицо, мутные глаза и потихоньку, прихрамывая, начинает ходить из угла в угол, от одной группы к другой, и пятнать своим ядом что и как может.

В первое и второе посещение ей никто бы не поверил: после третьего верят все без исключения. После третьего я никому ни на что не надобна и все решительно охладевают ко мне, совершенно и навсегда!

И этому так должно быть. Этому нельзя иначе быть! Например: имею ль я для всех все, что нужно иметь, чтоб привлечь их постоянное внимание, уважение, дружбу? Всегда ли могу я быть приятным гостем? Что есть во мне такого, что бы занимало, веселило, радовало, удивляло? Ничего, совершенно ничего.

Госпожа Н. Н., превосходная музыкантша и певица, могла ль сказать со мною хоть одно слово о своих любимых занятиях, дающих ей такую большую цену в свете? Нет, разумеется! Потому, что я ни о том, ни о другом не имею понятия.

Всему есть свое место, своя цена, свое время, свой условный порядок. Чтоб быть предметом постоянного участия, ласк, дружбы, надобно соединять в себе все, что люди уважают, любят, чему удивляются, чем восхищаются, что влечет их к себе неодолимою силою, например: юность, красота, отличное воспитание, знатность, богатство, высокий ум, редкие дарования; но если вместо всего этого одна только необыкновенность, так довольно, за глаза довольно одного посещения!

Можно держать пари один рубль против тысячи, что всякий, кто читал мои Записки, при свидании со мною очень удивляется, что не находит во мне того интересного, семнадцатилетнего существа, плакавшего на могиле Алкида; ни того юношу-гусара в белом доломане, ни даже того молодого улана, которого заносчивый конь уносит в бурный проток. Теперь нет уже ничего похожего на это; им дела нет, что этому прошло так много времени, что тридцать лет имеют свою власть и свой вес. Что им за надобность! Они видят только, что человек, перед ними стоящий и о котором говорят, что это Александров, не похож на того, который столько заинтересовал их в своих Записках; и вот эти-то люди, по крайности большая часть их, верят глупцам, которые называют книгу мою романом.

Никакой свет не освещает таких страшных предметов, как свет опыта, потому что он освещает зло тогда, как оно уже сделано! Теперь я знаю людей, знаю цену их ласк, уверений, знаю, что́ какое слово значит у них; знаю, до какой степени чему можно верить, но что ж мне из этого? Что я выиграла через этот урок? Например, я и в пять лет от роду слышала пословицу: «не спросясь броду, не суйся в воду!» — что ж помогло мне то, что я так заранее узнала ее?

Не помню, где-то я читала, что «через золото рекою слезы горькие текут». Довольно странно, что так не вовремя пришлось мне узнать справедливость то пословицы какой-нибудь, то стиха из песни: вот лежит передо мною на столе шесть тысяч золотом; это ведь все-таки груда, хоть и небольшая, и как бы хорошо было, если б она лежала одна только! Но увы, вот и еще лежит подле меня на диване моя собачка — мертвая! Она умерла оттого, что я никуда не могла брать ее с собою; она сидела все в горнице, во всяком другом месте она ходи-

ла бы со мной, здесь нельзя было. О, как охотно бросила б я теперь всю эту груду золота в лужу, если б только могла чрез это возвратить жизнь моему бедному зверьку! Проклятые шесть тысяч! Стоили ль они, чтоб для их приобретения я прожила здесь так долго! Не думала я, что буду когда-нибудь жалеть о таком времени, о котором никто и никогда не жалеет. Однако ж, я от всей души сожалею о том счастливом времени, когда у меня не было денег.

Самый тягостный народ эти утешители: ничего не знаю несноснее их! Двадцать раз в день приходит ко мне моя соседка говорить мне, что я худо делаю, что сижу близ моего мертвого друга, что ничего нет легче, как заменить эту потерю, и что это большая слабость сожалеть о собаке. «Мы теряем людей: друзей и родных, и тут не грустим так сильно!» — О, верю, очень верю! Оставьте, однако ж, меня, твердые люди! Сделайте милость, оставьте! Я за честь себе считаю не быть ни в чем похожею на вас! По крайности, на тех, которых случай дал мне узнать ближе. По-моему, лучше быть странно чувствительною, нежели расчетливо бесчувственною.

Коляска моя готова... слишком уже просторно в ней! Неразлучный спутник мой остается здесь, под зеленым дерном, спать сном глубоким и беспробудным.

Теперь я еду на протяжных и надеюсь дорогою окончить «Павильон». В праздное время, которого у меня было слишком много в Петербурге, я вздумала описать одно очень страшное происшествие, в котором и я имела некоторое участие и которое и теперь еще служит тайною в том краю, где оно случилось; я было занялась этим описанием очень прилежно и, благодаря хорошей памяти, которою наделила меня природа, припомнила почти от слова до слова рассказ унтер-офицера Рудзиковского, так же как и случай, давший повод к этому рассказу. Занятие мое шло как нельзя лучше, как вдруг смертные муки моего маленького четвероногого товарища и друга, моего бедного Амура, заставили меня проклинать все: и замысел писать, и поездку в Петербург, и бесцельное житье в нем, и адскую расчетливость, которая заставляла меня чего-то выжидать здесь. Собачка моя умерла, я целую неделю ничего не знала и не хотела

знать о моем «Павильоне»; случаю угодно было, чтоб человек мой не счел этих бумаг годными на обертки подсвечников, ножей, вилок, ложек и сложил их все, как они были, на дно чемодана. Перед отъездом я спросила об них, но очень равнодушно и, право, не оскорбилась бы нисколько, если б сказали, что ими растопили печь; однако ж, мне подали мою кипу бумаг в целости, и я велела опять спрятать ее; дорогой буду писать во время продолжительных отдыхов моего возницы и его животных.

Серный ключ

Боже мой! Какая скука! Что делать? Чем заняться? Куда девать столько праздного времени? Книги да прогулка, прогулка да книги! От этого голова пойдет кругом!.. Правда, здесь много прекрасных, любезных, девственно-свежих и веселых дам. Но я хотел бы знать, что может быть несноснее вечной свежести и веселости? Мне она до смерти надоела! Хотя бы на минуту побледнели лица румяные. Хоть на полчаса грусть омрачила бы черты, столь прекрасные. Как были бы они пленительны!.. Так нет: как на зло, цветут и смеются от утра до вечера, от вечера до утра. И вечером и утром, и в полдень и в полночь, в дождь и в ясную погоду, в пятнадцать лет и в шестьдесят — все одно и то же! И в самую вечность пойдет с ними одно и то же! Как сравнить их с пленительными варшавянками! Те — апрельская погода, со всеми ее прелестными и быстрыми переменами!.. Там никогда ни обеспечиться, ни увериться. Нужны беспрерывное внимание, всегдашняя осторожность. И это дает столько занятия уму и сердцу; нет места томительному равнодушию, когда боишься потерять что-нибудь милое, а особливо, если милое мило всегда и именно потому, что никогда не бывает одинаково. Прелестный край!..

Такими-то мечтами и воспоминаниями обуревалась голова молодого Л..., уланского ротмистра, возвращавшегося, часу в девятом вечера, с всегдашней своей про-

гулки на Холмах; так называлось одно из лучших местоположений в окрестностях города ***. Неблагодарный молодой человек пробегал поспешно и без внимания места, на которые нельзя было смотреть без восхищения и которые были местом его рождения. Мысль его летала то по великолепным гостиным в Варшаве, то по низким болотистым полям Гродненской губернии; в первых светило его солнце, во второй квартировал полк. Впрочем, и то надобно сказать, что как бы ни было что прекрасно, но если смотреть на него всякий день несколько недель сряду, то можно уже в иную пору оставить и совсем без внимания. Всесильная привычка, уравнивающая все, делающая прекрасное обыкновенным, безобразное сносным, заставила и молодого Л... смотреть равнодушно на величественную реку, обширные леса, высокие горы, зеленые луга, усеянные всеми возможными цветами; мимо всего он шел так скоро и в такой задумчивости, что наконец набежал на ограду кладбища. Он остановился. Гродненские поля и варшавские залы с их очарованием исчезли — Л... увидел себя на полях своей родины, у кладбища и в двух шагах от могилы несчастного Сендомирского: на ней ярко блистала золотая надпись на черной доске. Л... знал Сендомирского; они были друзья; знал причину его преждевременной, трагической смерти. Молодой человек с горестью облокотился на памятник, над могилою прежнего друга. Она так много, так внятно говорила его сердцу. Л... закрыл лицо руками и отдался мыслям, которые, сменяя одна другую, перенесли, наконец, его от плачевной судьбы Сендомирского к славе, блеску, силе, богатству, цветущему состоянию, смутам, раздорам, междоусобным войнам, упадку его отечества, Польши... Легкое прикосновение к плечу заставило его вздрогнуть. Все признаки воображения разлетелись. Исчезла Польша с своими пышными садами, замками, войсками, грудами червонцев и пр. Перед ним стояла молодая исправница Лязовецкая, любезнейшая и вместе прекраснейшая из дам уездного городка, где улан Л... томился в отпуску.

— Что вы делаете здесь? С четверть часа уже, как вы стоите так неподвижно, что вас можно бы счесть за принадлежность к памятнику Сендомирского. О чем вы так задумались? Покойник был вам знаком?

— Он был мне друг. Но не его, собственно, участь так

заняла меня. Да, впрочем, бог с ними со всеми! Расскажите мне лучше, где вы были все это время? Я не видал вас более месяца: куда вы ездили?

— На воды.

— Нет, без шуток: неужели в округу с мужем?

— Я совсем не шутя говорю, что ездила на воды.

— Как можно?..

— Вы, право, забавны с вашим: как можно!.. А почему ж не можно? Что вы тут находите невозможного?

— Ничего, разумеется, но вы сделали это так секретно, что никто ничего не знал! Не было ни толков, ни заключений, ни даже малейшего слуха, а ведь у вас такое событие, как, например, поездка на воды, не безделица! У вас оно служит эпохою, от которой ведете вы ваши летосчисления, как от...

— Полно, полно, молодой человек! Поберегите ваши остроты до возвращения в Гродно, а в нашей глуши они не имеют цены...

— Так расскажите ж мне, куда, в самом деле, вы ездили? Зачем? Что там делали? Что видели?

— Говорю вам, что ездила на воды, на Серный Ключ, близ селения Курцем.

— Что за гармоническое название! В какой же это стране света? Имя не русское.

— Это деревня черемисская, и не далее восьмидесяти верст отсюда... Но пойдемте в город; солнце совсем уже закатилось. Дорогою я расскажу вам о своем путешествии. Да, что вы так рассеяны сегодня, Л...? Вы, кажется, еще и не заметили, что со мною дети мои? Поцелуйте их.

Л... тогда только увидел, что Лязовецкая вела за руки двух своих сыновей, прекрасных, как амуры. Перецеловав детей, он извинялся в своей невнимательности, ссылаясь на то, что поездка ее на какие-то небывалые воды свела его с ума. Они пошли обратно к городу.

— Итак, вы не верите,— начала говорить прекрасная спутница Л...,— чтобы я была на водах? Не верите существованию нашего Серного Ключа, который кипит и клокочет в восьмидесяти верстах от неверующих обитателей нашего песчаного, морского дна, как вам угодно называть наш город?

— В восьмидесяти верстах! Но ведь это так близко, что даже против воли можно было бы знать об вашем

ключе, если бы он в самом деле был!.. Нет, воля ваша, вы шутите, или тут какое-нибудь иносказание.

— Полно вам с вашими иносказаниями! Вы слышали и сами об нашем ключе, но забыли. Об нем были большие хлопоты, разведывания. Окружной лекарь обратил внимание на необыкновенный вкус воды и, найдя, что она наполнена серными частями, уведомил об открытии свое начальство. Слухи носились, что целительность вод его не уступает заграничным, но впоследствии все затихло.

— Почему ж?

— Говорят, что пока смотрели и рассматривали, ворочали и переворачивали донесение окружного лекаря, он умер. На место его приехал другой, который не имел такой веры к ключу...

— Я не понимаю, что за радость была прежнему лекарю заботиться, чтобы ключ признали годным?

— Вы смешны, Л...! Как что за радость лекарю, что оказался годным Серный Ключ в его округе? Ведь к таким местам ездят обыкновенно лечиться, а где лечатся, там, я думаю, лекарь главное действующее лицо. Нынешний лекарь, может быть, не надеялся удержаться тогда на своем месте и потому не хотел хлопотать для другого. Думаю, что предчувствие или опасение были главною причиною его беспечности. Удержаться на месте можно было бы легко, но только не З...

— Ах! так это З... Я знаю его. Он женат на польке. Какая красавица жена его!

— Да, у него только и хорошего, что красавица жена.

— Ваша правда. Вот человек, в котором вовсе нет ничего худого, но нет и ничего хорошего! Мне кажется, что природа и сама не знает, как сотворила его.

— Ну, нет! В нем есть одно замечательное качество.

— Вы хотите сказать, что он скуп?

— Да.

— Это правда: скуп он единственным образом, ему одному только свойственным! Я расскажу вам смешной анекдот об его расчетливой философии: как-то заболели у меня зубы; вы знаете, что в этом только одном случае вся моя твердость исчезает...

— Знаю, что вы неженка — что ж далее?

— Я пошел к З... просить какого-нибудь снадобья, как говорит одна из ваших знакомых.

— Оставьте ее в покое — у нас так говорят.

— Я пришел к нему в час пополудни — пора, в которую все благочестивые провинциалы обедают. Насилу я достучался; наконец, отперли. Где лекарь? — спросил я кухарку, которая отворила мне дверь.— Кушает.— Проведи меня к нему.— Извольте идти сами. Из залы дверь направо в столовую.

Я пошел и, увидя дверь направо, отворил ее и вошел в тесный, гадкий чулан, где за мискою какой-то спартанской похлебки сидел З... с своим ангелом, с прелестною черкешенкою...

— Ну, одним словом, с своею женою! — прервала Лязовецкая, несколько нетерпеливая.

Л... покраснел.

— Думаю, появление ваше привело его в замешательство?

— Худо вы его знаете, если так думаете; это Кратес, который хвалится своим цинизмом. С величайшим хладнокровием он встал из-за стола и просил меня в залу; но будучи довольно умен, угадывая, как должны были удивить меня его обед и та собачья конура, в которой он так роскошно пирует, он сказал мне: «Вы, верно, удивляетесь моей укромной столовой и слишком умеренному обеду? Не думайте, чтобы это было от скупости! Нет, я ведь имею достаток, но поступаю так сообразно понятию, какое имею о не совсем-то благородной естественной потребности — есть.

— Не совсем благородной?.. Что за чудак! Почему ж не совсем благородной?

— Я думаю, он и сам не знает почему, а так врал, чтобы только сказать что-нибудь в оправдание своей cochonnerie *.

— А, не смеете же сказать по-русски такого деликатного словца!.. Что ж еще говорил З...? Какое понятие имеет он о неблагородной потребности есть?

— Он говорит, что человек должен удовлетворять эту потребность просто, где-нибудь, как-нибудь и чем-нибудь, и что нет ничего неблагопристойнее, по его мнению, как званые обеды, роскошь, изысканность, утонченность,

---

[1] Cochonnerie (франц.) — свинство.

пышность, блеск, дороговизна. И все для того только, чтобы удовольствовать грубую потребность, доказывающую ничтожность человеческой природы!..

Лязовецкая захохотала.

— Что ж вы отвечали на такое прекрасное рассуждение?

— Ничего. Но мне очень хотелось спросить: одного ли с ним мнения жена его?

— Однако ж, не спросили?

— Как можно! За кого ж вы меня считаете?

— За ветреника в отпуску.

— Бог с вами! Однако ж, теперь не угодно ли поквитаться: я рассказал вам анекдот о скупом, расскажите мне ваше путешествие.

— Теперь уже некогда. Вот мы в городе, но пойдемте ко мне ужинать; муж мой где-то завоевал стерлядь, от которой он в восторге, и вот ее великолепное описание — передаю вам его слово в слово: янтарная, около пуда, весом, в Петербурге дали бы за нее тысячу рублей для стола, например, хоть Ш... И мы будем есть такую рыбу? Какой соблазн! Какое мотовство! Разве нельзя грубую потребность, доказывающую ничтожество природы нашей, удовольствовать куском хлеба? Предоставим такую роскошь З... Идите вперед с детьми, а я пойду только вот к этому дому, постучу в окно; здесь муж мой. Спрошу его: будет ли он с нами ужинать?

Пока красавица Лязовецкая говорила с мужем, Л... с двумя мальчиками ушел вперед. Старший из детей начал говорить:

— Мы пили серную воду из ключа. Какая она нехорошая! Маменька водила нас каждое утро к этому ручью и приказывала пить по три стакана гадкой воды его.

— И вы пили?

— Пили. Миша всякий раз плакал!

— А ты?

— Я нет. А один раз, так и маменька плакала.

— Об чем же?

— Не знаю! Она привела нас к ручью, напоила водою и приказала играть и бегать, а сама села на берегу,

прямо против какого-то зеленого бугра, смотрела на него долго, не сводя глаз, и плакала; я видел, как она беспрестанно прикладывала платок к глазам.

— А после?

— После повела нас домой и не плакала уже более.

Л... шел тихо, желая дать время Лязовецкой присоединиться к ним; она и муж ее скоро догнали их. Лязовецкая сказала, что по неограниченной власти, какую всякая благоразумная жена должна иметь над своим мужем, она отняла его у товарищей, с которыми он расположился было выпить бутылку шампанского.

— Скоро неограниченная власть твоя ограничится, — сказал Лязовецкий, шутя. — Восемь лет, как мы принадлежим друг другу; тебе минуло уже двадцать пять лет, пора, в которую власть жены, хотя не приметно еще, а все-таки начинает уже уменьшаться.

— Ну, там увидим!.. А что вы тут щебетали, мои колибри? — спросила Лязовецкая, наклонясь к детям и целуя их. — Я слышала, вы что-то рассказывали?

— Да, они выдали мне ваш секрет, и я теперь знаю, что вы плакали на берегу ручья против зеленого бугра.

— Представьте, как дети приметливы! А мне и в ум не приходило, что они замечают мои поступки.

— О чем же вы плакали?

— Ах! это слишком горестная история!

— Вы в долгу у меня: обещали рассказать о поездке на воды, так нельзя ли вместе и горестную историю?

— Хорошо, я расскажу вам все после ужина, а теперь пойдемте скорее.

Через полчаса все были уже за столом, на котором дивила взор и услаждала обоняние хваленая стерлядь. Лязовецкий сказал жене, что как она увела его от шампанского, то чтобы приказала подать бутылку этого вина; что он не хочет терять своего и что грешно было бы есть такую стерлядь, не запивая шампанским. Вино явилось, и довольный хозяин говорил, что у самого Лукулла никогда не бывало такой рыбы на его роскошных пирах.

По окончании ужина все разошлись по приличию: исправник ушел в кабинет заниматься делами; дети легли спать; молодой ротмистр поместился в вольтеровских креслах близ круглого столика перед диваном; прекрасная хозяйка села на диван и взяла свое вязанье, говоря, что она может работать и рассказывать,

— Болезнь моих малюток заставила меня советоваться с многими лекарями. Все они сказали, что лучшее средство вылечить их совершенно и прочно — делать для них серные ванны. Ехать на Кавказ я не могла, как по небогатому состоянию моему, так и по невозможности оставить надолго свое хозяйство без собственного присмотра. И так я решилась испытать целительную силу серного ключа в селении Курцем. Выбрала время, когда мужу надобно было долее обыкновенного пробыть в округе, собралась и поехала. В деревне я заняла дом крайний к полю, чтобы ближе было ходить на ключ. Разумеется, квартирою моею была простая крестьянская изба, которой все удобства состояли в лавках и полатях; впрочем, она была из лучших, то есть просторна и светла. Каждое утро, в пять часов, ходила я к ключу, протекавшему не далее, как в полуверсте от моей хижины. Тут я купала своих детей, заставляла их пить по три стакана воды и после бегать и играть на берегу самого ручья. Окрестности его очаровательны: зеленые луга, множество цветов, душистых трав, тенистые рощи, тьма соловьев и прекрасные виды вдаль делают это место раем, с которым я расставалась всегда неохотно и всегда как можно позже; я тут вязала, читала, рвала цветы, убирала ими своих двух амуров и убиралась сама...

— Как их маменька? — прервал Л...

— Признайтесь, Л..., — сказала Лязовецкая, — что вы довольнее, сказав мне свое приветствие, нежели я, получа его?

Из кабинета послышался смех. Л... немного надулся, немного отодвинулся. Но Лязовецкая так мила, так добродушно смотрит своими темно-голубыми глазами, так ангельски улыбается!.. Л... только двадцать четыре года... Он опять придвинулся.

— Будет продолжение? — спросил он.

— Будет, если вы не устали слушать.

— Опять эпиграмма! Да полно вам, ради бога!

— Слушайте же и не прерывайте уже более, а то я не кончу до рассвета.

— В один день вздумалось мне пройти несколько далее по течению ручья, за рощу, которая примыкала к противоположному берегу его и так близко, что крайние деревья были подмыты водою и наклонились в нее ветвями; роща была высока, густа и занимала большое

пространство. Мне очень хотелось видеть, что там еще за нею скрывается. Я взяла с собою детей и пошла. Обошед рощу, я была поражена каким-то благоговейным страхом при виде грозного, необозримого соснового леса; несмотря на ясный полдень, на яркий свет июньского солнца, в дремучем лесу царствовала глубочайшая ночь! Содрогаясь, смотрела я с каким-то непонятным для меня ощущением ожидания и любопытства в непроницаемую, черную глубь. Казалось, что не было никакой возможности пройти туда человеку: так плотны были между собой все деревья и так густо сплелись они ветвями; только что хотела я подойти поближе к лесу, как вдруг услышала пение. Я остановилась. Не знаю почему, звуки эти испугали меня; я прижала к себе детей и стала вслушиваться; через минуту мне стало стыдно неосновательности своего испуга. Необыкновенная приятность и унылость голоса скорее могли растрогать, нежели испугать. К тому же в поле были люди: женщины брали землянику; мужчины расчищали место для засева на будущий год. Ободрясь всем этим, я решилась подойти к самой опушке леса; детей, однако ж, не взяла с собою, но отдала их под присмотр своей хозяйки, тут же бравшей землянику, и отправилась к лесу, вдоль по течению ручья, катившего светлые воды свои под непроницаемую тень дебри, в которую я так храбро собиралась войти. Однако ж, дошед до леса, я остановилась и минуты с две думала: погрузиться ли в этот мрак или возвратиться назад? Но ведь любопытство, говорят, сильнее всего в нашем поле. Я уступила непреодолимой власти его, вошла в лес и, следуя извилинам ручья, углубилась в самую чащу; поющая сирена не умолкала, и по мере, как я подвигалась вперед, голос становился явственнее; слова не русские, но голос — какой голос! Я плакала! Наконец, усматриваю предмет моего любопытства, поисков, а теперь живейшего сострадания: то была девица, черемиска, лет семнадцати или восемнадцати, бледная, как белый мрамор, но невыразимо прекрасная: большие глаза ее были черны и блестящи, рот хотя казался несколько велик, надобно думать от чрезмерной ее сухощавости, но был однако ж свеж, как роза, и до пленительности хорош; и как она была крестьянка, то неудивительно, что ровные прекрасные ее зубы были белы, как слоновая

кость; на ней был белый полотняный шабур, вышитый красными, зелеными и синими цветами.

— Что такое шабур?

— Род тюника. Молодая черемиска сидела на берегу, наклонясь очень близко к ручью. Она пела, плакала и беспрестанно опускала в воду свои длинные светло-русые волосы, прекрасный золотой отлив которых был разительно противоположен ее черным бровям и ресницам. Не удивляйтесь такому подробному описанию: я, по крайней мере, с полчаса стояла неподвижно на одном месте и рассматривала ее, не отводя глаз ни на минуту. Она продолжала петь, плакать и опускать в воду свои волосы; она вынимала их, жала, терла руками и опять опускала в воду. Я не смела заговорить с нею. Наконец, она встала; ее красивый рост, стройный и легкий стан отвечали совершенно красоте лица. Она пошла из леса тою же тропинкою, по которой я пришла к ней и на которой теперь стояла. Отсторонясь, чтобы дать ей дорогу, я увидела, что она ни на что не смотрит вокруг себя и не сводит глаз с волос своих, которые держала в руке. Дав ей время отдалиться, я пошла за нею следом, не теряя ее из вида; вышед из леса, она продолжала идти все по берегу ручья и, наконец, пришла к роще; тут тихо склонилась на какую-то возвышенность, род могилы, обняла ее руками, прижалась к ней лицом и осталась так неподвижною. Дети, завидя меня, прибежали с криком: «Маменька, маменька! посмотрите, сколько у нас земляники!» Я думала, крик их испугает молодую черемиску, но она лежала, как камень. — «Что вы смотрите, барыня?» — спросила моя хозяйка, подошедшая ко мне вслед за детьми. Я указала ей на лежащую девушку. — «А, это наша бедная Зеила, сумасшедшая! Она по целым часам моет свои волосы, плачет и причитает что-то». — «Для чего ж она моет их?» — «Ей все кажется, что на них кровь». — «Ах, боже! Какой ужас! Отчего ж ей кажется?» Хозяйка рассказала мне тогда длинную историю, которую я постараюсь сократить для вас, потому что, кажется, я уже усыпила вас своим рассказом.

— Нет, нет! Ради бога, не сокращайте! С чего вы взяли, что рассказ ваш может усыпить меня? Напротив, он становится чрезвычайно интересен.

— Зеила осталась от отца и матери трехлетним ребенком, но столь восхитительно прекрасным, что все

крестьяне единодушно взялись кормить ее, одевать и доставлять выгоды и удовольствия, каких не имели собственные их дети. Все крестьяне не иначе называли ее, как «наша дочь, наша Зеила», и дитя тоже всякую женщину в деревне звало матерью. Она жила у кого хотела, во всякой избе была дома, у себя, могла распоряжать всем, могла ничего не делать, если не хотела. Ее столько все любили и лелеяли, что никому и на мысль не приходило заставлять ее что-нибудь работать. Но девочка, одаренная красотою, не виданною между черемисами, была одарена также и добродетелями. Она была кротка и ласкова, охотно бралась за все, что было по силам ее, и помогала всем маменькам в их работах. С восторгом смотрели на нее молодые и старые черемисы, когда она, положив на стройные плечи свои коромысло с ведрами, протягивала по нем белые, как атлас, гладкие свои руки и легкою поступью отправлялась на ключ за водою, на тот самый ключ, в котором она теперь моет свои прекрасные волосы, тщетно стараясь смыть с них кровь, которою, кажется ей, они покрыты.

Сначала, когда Зеиле было только четырнадцать лет, она ходила за водою больше для того, чтобы погулять, тем более что ее решительно не хотели допускать ни до каких трудов. Красота ее столько очаровала всех, что даже самые зависть и скупость обратились в доброжелательство; для нее никто ничего не жалел, и она в полной неге и довольстве возрастала роскошно, как юная роза в кустарнике. Но вот красавице минуло шестнадцать лет, в ней оказалась непонятная для всех странность. Она непременно хотела одна носить воду для живущих на краю деревни, говоря, что ей вовсе нечего делать, что то не труд, а прогулка для нее и что, наконец, она просит такого поручения, как милости. Хозяйки тех домов, которые Зеила взялась снабжать водою, хохотали простодушно над ее капризом, целовали свою милую «работницу», как они называли ее шутя, и отдали в ее волю и полное распоряжение свои ведра и коромысла.

Зеила ревностно принялась за исполнение своей добровольной должности. Она вставала до зари, брала ведра и отправлялась на ключ; с восходом солнца во всех шести домах, которые были к полю, находился уже полный запас воды для утренних надобностей как-то: стряпни, мытья, умыванья. К полудню опять гнулось коро-

мысло на белых, красивых плечах Зеилы, опять лилась вода с шумом и блеском в кадочки, приготовленные старательными хозяйками.

Несмотря на то, что крестьянам, всегда занятым работою, некогда терять времени на толки, пересуды и догадки и что им некогда ничему слишком долго удивляться, странность Зеилы занимала их почти с неделю. Они выходили смотреть, когда она шла с водою, и пожимали плечами; женщины смотрели за нею вслед, когда она шла на ключ с пустыми ведрами, но не видали ничего более, как только то, что она, зачерпнув воды, в ту же минуту шла обратно. Наконец, им наскучило выходить смотреть: они опять занялись обычными работами и представили Зеиле полную власть над ключом и своими ведрами, решив единодушно, что то просто фантазия молодой головы и более ничего. Но если бы добрые женщины встали, как Зеила, до зари и взглянули бы вслед черноокой сироты своей, тогда тайна пристрастия ее носить воду объяснилась бы в глазах их, но они спали, и все оставалось покрыто непроницаемою завесою до развязки.

Ключ близ деревни Курцем не принадлежит собственно ей, но отделяет только ее поля от полей деревни Бугры, тоже черемисовой, и служит им границею. Близость обширного леса, в котором водилось много зверей, заставила жителей деревни Бугры избрать пастуха для стад своих; выбор, весьма естественно, пал на сироту, не имевшего ни отца, ни матери, ни родных, ни друзей, ни поля, ни скота, одним словом—ничего. Молодой Дукмор был вскормлен миром, то есть жителями всей деревни, и его прочили при первом наборе в солдаты. Но хотя он был беднейшее существо в свете, хотя должен был работать с утра до вечера за кусок хлеба, хотя белый холстинный шабур его был единственным одеянием зимой и летом, однако ж, природа была для него самою нежною матерью. Она дала ему высокий рост, стройность, необычайную силу и красоту лица, никогда еще не виданную в сем народе, по большей части малорослом и неуклюжем.

Дукмор не был так счастлив, как Зеила, и не только что не внушал участия своим соотечественникам, но, напротив, его превосходство над ними возбуждало их зависть, заставляло ненавидеть и с нетерпением ожи-

дать набора, чтобы отдать его в солдаты. Бедный юноша, столь блистательно отличный от своих земляков, что не мог быть ими терпим, обрадовался, когда ему сказали, что деревня избирает его пастухом стад своих. Выбор давал ему возможность отделиться от неблагонамеренных товарищей своих и возблагодарить некоторым образом жителей деревни, вскормивших его, хотя неохотно, но все-таки вскормивших. Дукмор принял стадо счетом; и всякий день, от зари до зари, пас его на обширных лугах, лежащих между сосновым лесом и Серным Ключом, границею деревень Курцем и Бугры. Он ходил за стадом, играя на какой-то дудке, вроде флажолета, своего изобретения. Надобно думать, что природный вкус заставлял его извлекать приятные тоны из инструмента, потому что слышавшие его невольно останавливались и заслушивались долее, нежели позволяло рабочее время. Любимым местом его был берег Серного Ключа, там, где роща примыкает к самой воде его. Отсюда мог он видеть все стадо, обе деревни и сосновый лес.

В начале той самой весны, когда Дукмор был выбран в пастухи, Зеиле минуло шестнадцать лет. Оба они никогда не видали друг друга и не имели даже понятия о существовании один другого, хотя сходство судьбы их, сиротство, дивная красота и должны б были, кажется, сделать их известными друг другу, но таков быт деревенский, особливо у черемисов и прочих, им подобных, полудиких народов; они родятся, растут, живут и стареются, не зная никогда, что делается за версту от них, если только какой-нибудь случай не приведет их в ту сторону.

Через неделю после того, как Дукмор вступил в должность пастуха, Зеила пошла, около полудня, на ключ за водою. Она остановилась в изумлении, услыша приятные и тихие звуки флажолета. Они неслись к ней из глубины рощи, примыкавшей к ручью, и слышались то тише, то явственнее. Зеила стояла неподвижно... Надобно знать, что ключ исстари слыл очарованным, верно, потому, что не замерзал и что вода его была не совсем обыкновенного вкуса. Жители не хотели было брать воды из него, но время и необходимость ознакомили их с мыслью, что очарование ключа безвредно; впоследствии они уверились, что оно даже и благодетельно, потому что скот, пасшийся на берегах его, был крупнее скота других де-

ревень, и, наконец, переходя из одной крайности в другую, они стали думать, что ключ находится под покровительством одного из добрых духов.

— Как духов? — спросил с удивлением Л....— Разве они не христиане?

— Христиане по наружности, то есть они крещены, ходят в церковь, приобщаются и соблюдают посты, но все усилия наших священников и правительства не могут истребить совершенно дух идолопоклонства в народе; они скрываются в самых мрачных и непроходимых лесах для отправления таинственных обрядов, из которых иные ужасны и кровавы. Гибель тому, кто застал бы их в таком действии! Все они имеют в нравах своих свирепость диких народов. Дремучие леса, в которых они строят всегда свои жилища, много способствуют как исполнению варварских обрядов их, так и сохранению неизменяемой дикости нравов.

Итак, предание о ключе было таково, что воды его имеют волшебную силу; поверье утвердилось более еще от разведывания и участия, какое принял тут окружный лекарь. Но когда приехали и взяли в бутылку воды из их ключа, когда сказали черемисам, что пошлют в губернский город воду, когда они узнали, что к их ручью будут приезжать лечиться, тогда-то взволновались тяжелые умы черемисского поколения! Они сходились по вечерам толпами на берег своего ключа, толковали, ужасались и расходились, поникнув головами. Они полагали, что цель всей тревоги была та, чтобы уничтожить власть доброго духа, покровителя их ручья. «Вот, верно, наедут господа из города, и тогда злой Керемет завалит его песком и землею. Что мы будем делать? Где будем поить скот свой?» Так толковали и горевали жители деревни Курцем, но благодаря обстоятельствам, о которых я говорила вам сначала, опасения дикарей уничтожились, и ключ их прыгал и клокотал по-прежнему, не обращая на себя более ничьего внимания. Спустя уже два года после того тревожного времени случилось, что Зеила пошла за водою и услышала, никогда еще ею не слыханные, звуки неведомого инструмента.

Она все еще стояла неподвижно, как прелестнейшая из статуй; между тем звуки приближались, становились явственнее. Зеила едва дышала, устремя взор в глубь рощи, откуда слышалась ей игра Дукмора... Наконец, он

вышел из рощи, увидел Зеилу и остановился, так же неподвижно, как и она. Кто опишет чувства их!.. Оба в цвете лет, одаренные красотою, никогда еще не виданною в их стороне, оба напитанные всем суеверием народа, к которому принадлежали, сошедшись на берегу ручья, с давних времен считавшегося волшебным, что могли думать, за кого почитать себя взаимно?.. Не могу рассказать вам, чем кончилась первая их встреча; мне самой очень неудовлетворительно рассказывала хозяйка, у которой Зеила с того дня предпочтительно основала свое жилище. Кажется, что они сошли к самым берегам ручья, сели и смотрели друг на друга, не смея начать говорить, но впоследствии они освоились, перестали считать один другого чем-то сверхъестественным, рассказали себе взаимно о своем сиротстве, одиночестве и полюбили один другого со всем огнем юных, чистых, девственных сердец своих. С того-то времени Зеила выпросила себе обязанность носить воду для шести крайних домов деревни. Разумеется, ей нужен был только предлог ходить к ключу за делом, а без того ее стали бы провожать подруги, чего она более всего на свете боялась. Приходя к ключу на заре, она могла с полчаса сидеть на берегу против своего друга и говорить с ним, о чем только им обоим на мысль вспадало. Зима не прекращала их свиданий; ключ не замерзал, и так, не удивительно, что трудолюбивая Зеила ходила по-прежнему за водою, по крайней мере, хоть для той хозяйки, у которой жила. Дукмор тоже улучал свободную четверть часа, чтобы прибежать к ключу в самую пору, когда Зеила наливала свои ведра. Хотя ручей по-прежнему разделял молодых людей, но они по-прежнему говорили один другому, что любят друг друга более всего, более жизни, более будущего блаженства, одним словом, любят невыразимо. После того они расходились до завтра, и так прошла зима. Настала опять весна. О любви и свиданиях Дукмора и Зеилы никто не имел никакого понятия, и не знаю, чем бы она кончилась, если бы злой рок не вмешался в игру. Дукмора назначили в солдаты, а Зеилу все в деревне желали называть невестою, снохою, золовкою, женою. Ни одна девка в деревне Курцем не вышла замуж с того времени, как Зеиле исполнилось шестнадцать лет; всякий из молодых черемисов льстился надеждою быть ее мужем; она одна только ничего не замечала

и продолжала ходить к любимому ручью. С некоторого времени, однако ж, какая-то грусть запала в ее душу. Раза два думала она, что слышит в страшном соседнем лесу зловещий хохот Керемета. (По их вере, хохот его бывал всегда предвестием какого-нибудь ужасного бедствия и всегда слышится только тому, с кем оно должно было случиться.) К умножению грусти ее, Дукмор сказал, что также слышал по две ночи ужасный смех их злого духа. Любовники грустили, сами не зная о чем. Зеила плакала, Дукмор смотрел на нее уныло; они сходились печально, расходились еще печальнее. Так прошло время до половины лета; настали жары, рабочая пора; деревни опустели; все, что имело силу работать, вышло в поле; в деревнях оставались только дети и дряхлые старики, да оставалась еще Зеила в деревне Курцем, жители которой ни за что не хотели позволить своей черноглазой красавице работать на солнце и портить белизну прелестных рук и лица. Теперь она могла почти весь день проводить на берегу ручья, под тенью дерев того края рощи, который примыкал к противоположному берегу и где Дукмор пас свое стадо. Она брала туда свое шитье и занималась строченьем разных узоров, слушала трогательные звуки флажолета и плакала. С той ночи, в которую Зеиле послышался хохот Керемета, она всякий день плакала. — «Ах! слышу я, слышу, что идет ко мне беда!» — говорила она, смотря на Дукмора глазами, полными слез.

В один день молодые люди пробыли у ключа долее обыкновенного; солнце давно уже закатилось; месяц еще не выходил; стадо Дукмора спокойно ело росистую траву, сам он сидел против Зеилы, и оба молчали, слушая соловья, который над самыми их головами щелкал, стонал, свистал и очаровывал всю природу своим ни с чем не сравнимым пением... Вдруг дикий хохот раздался в чаще бора... Зеила с глухим стоном упала на траву. Дукмор в ужасе поднялся с места. — «Горе нам! Это Керемет! Погибли мы!..» Зеила ломала руки, Дукмор стоял неподвижно. — «Беги, Зеила! — вскричал он, наконец. — Беги скорее! Я постою здесь, пока ты добежишь до своей избы. Беги, не бойся ничего: я не уйду с места, пока ты не будешь дома». — «Ах, прости, Дукмор! Мы более не увидимся. Это ужасный Керемет. Мы погибли!» — «Беги же, Зеила, ради бога! Завтра я приду сюда на

рассвете, но теперь беги, как можно скорее, беги отсюда! Я подожду, пока ты добежишь». Зеила как легкий зефир перелетела пространство, отделяющее деревню от ключа, и молодой человек вздохнул свободно, увидя свою любезную под кровом и вне опасности. Он оборотился с гордым и мужественным видом к стороне леса, посмотрел с презрением в черную глубь его и пошел твердым и спокойным шагом собирать стадо свое, чтобы гнать его в деревню. Прикликав к себе верных товарищей пастушеской своей жизни двух огромных и сильных собак Зиглора и Зуррая, с беспокойством заметил он, что они, ворча и ощетиня шерсть, жались к нему с каким-то страхом. Стадо его, пыхтя и озираясь, теснилось все вместе и начинало бежать к деревне. Пока он торопливо старался разглядеть, какой предмет мог так испугать их, стадо его пустилось во весь дух к деревне, испуская жалобный рев. Собаки, рыча, жались к встревоженному Дукмору; в лесу раздался треск, как будто что-нибудь с силою ломало сучья. Для юноши черемиса это была очень понятная примета: лесом шел медведь, и слыша близость стада, верно, искал добычи. Сердце молодого человека закипело мужеством.

Известно, что полудикие народы, всегдашние обитатели непроходимых лесов, нисколько не боятся единоборства с медведем; разумеется, что на такой опасный подвиг пускаются только молодцы, а то у них есть много и других способов ловить и убивать медведей.

— Да, слыхал и я о различных хитростях их, но что значит единоборство?

—Единоборство с медведем верх ужаса для меня. Вот что мне рассказывали об этом: когда узнают, что в лесу появился медведь и если его величина, сила и лютость обратят на себя внимание всей окрестности на сорок или более верст кругом, тогда из всех окружных молодых людей один кто-нибудь, род богатыря у них, решается, не говоря о том никому, вступить в единоборство с ужасным зверем. В случае успеха, смелый ратоборец покрывается неувядаемою славою и сверх того продает кожу побежденного зверя, что бывает иногда довольно ценно. В случае ж неудачи, он платит своею жизнию, и о предприятии его узнают только по остаткам белого шабура и нескольким костям,

— Ужасно! Неужели Дукмор решился на такой уединенный бой, среди леса, с лютым и сильным медведем?

— Да. Но я еще не рассказала вам о способе сражаться один на один с свирепым жителем лесов. Герой или безумец, не знаю как назвать того, кто против кожи медведя ставит свою жизнь, иногда столь богатую радостями, забрав себе в голову отыскать медведя, убить его, снять кожу, продать, разбогатеть и сверх того всю жизнь уже слыть отличным молодцом, идет, услаждаясь такими мечтами, в лес, отыскивает обычную тропу медведя и становится на ней, не имея другого оружия, кроме большого широкого ножа, с обеих сторон острого, как бритва; наконец, он слышит треск сучьев, предвестие приближения противника, и вот они видят друг друга лицом к лицу; медведь ревет, становится на задние лапы и идет к человеку, человек к нему, и в то самое мгновение, когда медведь обхватывает его лапами, чтобы смять под себя, смелый и мужественный черемис, как молния, распарывает его ножом, от ног до груди, и в ту ж секунду зверь падает бездыханен, с вывалившеюся внутренностью, прямо на своего победителя. Подвиг геройский, но требующий неимоверного проворства и присутствия духа.

Дукмор не сомневался, что причиною испуга стад его было появление медведя, но желал также узнать, будет ли он стоить того, чтобы пуститься с ним на смертный бой. Итак, он решился ждать, как огласит его молва. На заре пошел он к ключу, как обещал Зеиле, но ее не было. От испуга и горестных предчувствий Зеила занемогла. Дукмор жалобно играл на флажолете, ходил за стадом с поникшей головой и беспрестанно взглядывал к деревне Курцем, не выйдет ли Зеила... Настал вечер; ее нет. У Дукмора навернулись слезы на глазах. — «Что с тобой, моя Зеила?» — думал он и нога за ногою гнал стадо свое домой.

Весть о появлении в лесу медведя, как быстрый поток, разлилась по всем окружным селениям. Все встревожились, но рабочая пора не дозволила принимать никаких мер, кроме того, чтобы запирать стада на ночь в оградах и спускать всех собак.

«А что, Дукмор? — говорили молодые люди селения Бугры, сойдясь вечером с юным черемисским аполлоном. — Не хочешь ли попробовать счастия против не-

званого гостя в лесах нашихʔ Кстати, у тебя на зиму нет тулупа, а его шуба и красива и тепла. Право, брат, решись; мы помогли бы тебе, да видишь, нам некогда; к тому ж ты силач, каких у нас в деревне никто и не запомнит; нож не свернется в руке твоей. А знаешь ли, каков медведь? Стоит чести быть убитым твоей рукой! Чудовище ужаснейшее, какое когда-либо появлялось в священных лесах наших. Столетние старики говорят, что и от дедов своих не слыхали, чтоб когда-нибудь заходил в нашу сторону подобный медведь».

Дукмор молчал. Широкий нож его был так уже выострен, что перерубал волос на воздухе, и он почти решился идти в бор отыскивать ужасного врага и сразиться с ним, но ему хотелось прежде увидеть Зеилу; он сам не знал, для чего хотел того, но... Кровь его леденела при мысли идти на столь опасный подвиг, не взглянув еще хоть раз на Зеилу... Злой рок был неумолим. Зеила не показывалась у ключа; она лежала замертво на нарах и была окружена старухами, которые шептали над нею всякий вздор, перебирали всех идолов по именам, не забывая и Керемета, и всякий раз Зеила, услыша его имя, вздрагивала и металась по постели. Наконец, молодость и природа взяли свое: через неделю Зеила могла вставать и даже выходить. Первое, что она услышала, была весть о появлении страшного медведя, наводившего ужас на всю окрестность и делавшего опустошения в стадах... Сердце ее замерло. Нетвердыми шагами пошла она, как могла скорее, к ключу. Стада паслись, рассыпавшись по лугам... Дукмора не было! Сердце Зеилы облилось кровью. Она угадала все!.. Ломая руки, бросилась она в отчаянии на траву.

Дукмор, тщетно приходя каждое утро к ключу, чтобы увидеть Зеилу, решился, наконец, именно в тот день, когда Зеила в первый раз оставила свою хижину, идти на гибельный подвиг; он просил одного из стариков посмотреть в тот день за его стадом, отдал ему Зиглора и Зуррая, рассказал, где лучше трава и к какому месту ручья пригонять пить. Обеспеча таким образом довольство вверенного ему стада и дождавшись, когда старик зашел с ним за рощу, Дукмор приблизился к ручью, остановился на берегу его и долго смотрел на деревню. Наконец, простирая руки к хижине, под кровом которой цвел прелестный цветок его, пленительная Зеила, он вос-

кликнул: «Зеила! Может, ты придешь сюда завтра, может, еще сегодня, но я уже не встречу тебя... И увы! Кто знает, встречу ль я тебя когда-нибудь?.. Прости, Зеила, прости! — повторял он, ударяя себя руками в грудь. — Ужасный Керемет даром не смеется! Оба слышали мы страшный хохот его, а он... он всегда окупается кровью!..»

Дукмор пошел тропинкой, пролегавшей вдоль ручья и ведущей в самую глубь леса; он шел все по одному направлению, пока наконец дошел до такого места, где и ключ и тропинка исчезали в болотах и непроходимой чаще. Тут он остановился, осматривая внимательно все окружающие его предметы; между валежником, заросшим кустами малины, тянулась едва приметная, узкая тропа; в ней опытный глаз смелого черемиса не мог обмануться. Это была тропа медведя. Мужественный молодой человек отдалил мысль свою от Зеилы, забыл зловещий хохот Керемета и, взяв твердою рукою нож свой, стал бодро на тропе, которою необходимо надобно было идти свирепому животному. Ожидание его длилось не более часа. Гул, пыхтенье и треск сучьев, раздающиеся по всему лесу, дали знать Дукмору, что настало время. Медведь необъятной величины показался на тропе и в ту ж минуту стал на задние лапы; то был знак, что он увидел человека. Зверь с ревом шел на Дукмора. Дукмор шел к нему. Уже лапы чудовища были на стройных плечах черемиса; нож Дукмора был во внутренности медведя... Но, увы! Несчастная Зеила!.. Нож свернулся!.. Мгновения довольно было лютому зверю. Дукмор пал без образа и жизни. Чудовище, смертельно раненное, упало близ него, каталось по земле, и истекая кровью, ревело неистово. Дикий рев издыхающего зверя раздавался по всему лесу, оглашал окрестность и заставлял все живущее с трепетом укрываться в самые неприступные места. Стадо, дико озираясь, неслось как вихрь, к селению, вбегало в него, жалось, теснилось к домам. Собаки с визгом подлезали под мостовины, под печь, под лавки и, трясясь всем телом, жалобно выли. А люди?.. Все, что только было в поле, кинулось в деревню. Женщины с воплем бежали к оставленным детям; мужчины, вооружась чем попало, палкою, дубиною, жердью, вилами, косою, жались, однако ж, в тесную толпу и так подвигались к своим селениям. Наконец, дикий рев вдруг

замолк... Все черемисы остановились и с изумлением смотрели друг на друга. «Кто ж жизнью своею выкупил нашу безопасность? — спрашивали они один другого. — Медведь издох — нет сомнения, но он изломал своего противника, и в этом также нет сомнения: медведю некогда реветь, когда нож пойдет удачно; он умирает безгласно и в одну секунду, а то, видно, нож свернулся. Но кто ж бы это?» — «Наши все здесь», — говорили они, пробегая взорами по всем лицам. — «А Дукмор?» — сказал кто-то в толпе. «Дукмор!» — повторило несколько голосов, и в первый раз еще имя злосчастного юноши произносилось с участием. — «Дукмор, наш силач, красавец, молодец, о каких у нас до сего времени и не слыхали. Ах, как жаль!..» — «Вот беда! — шептали между собою молодые люди Дукморовых лет. — Вот беда, если в самом деле он! Говорят, набор будет непременно зимой. От нашей деревни следовал один только рекрут: уж сказали бы спасибо за такого красавца, а теперь — беда!..» — «Ну кто ж виноват? Ведь сами подстрекали, иди да иди, шуба тепла и красива!.. — сказал один из пожилых черемисов, вслушавшись в слова их. — Ну, вот теперь надень эту шубу, да и ступай в солдаты!» — «Ну, что ж — и пойдет, кому очередь!» — перервал староста.

«Полноте! Ступайте в поле: нечего уже теперь толковать — все кончено; пошлите приволочь труп медведя и похоронить того, кто был его победителем». Все возвратились в поле, исключая трех молодых ребят, которых жители деревни Бугры послали в лес за медведем и Дукмором.

Но Зеила? Что с нею? Где она была в то время?.. Бедная Зеила лежала на берегу ручья и плакала, как вдруг раздался ужасный рев медведя, рев, в котором слышалась ей смерть ее любезного.

Она вскочила в ужасе; с минуту стояла неподвижно, трепеща всем телом; в глазах ее изобразилось помешательство; вдруг она пошла быстро по течению ручья, прямо в лес, не бежала, но шла чрезвычайно скоро, расплетая торопливо свою шелковистую, светло-русую косу, достающую за колена; расплетя и распустя волосы по ветру, она пустилась бежать с быстротою гонимой лани. Я никак не могла доспроситься у жителей: чему они приписывают это странное действие ее? Был ли то род ка-

ких-нибудь чар или просто признак начинающегося сумасшествия? Зеила бежала по той самой тропинке, по которой за несколько часов перед тем прошел злополучный Дукмор. Солнце было уже близко к закату, но не страшась более мрачных теней, не страшась уже ничего в мире, Зеила продолжала бежать лесом и, наконец, закричав пронзительно, упала на землю... В пяти шагах от нее лежало раздавленное и исковерканное тело Дукмора. Оно все было в крови, выбрызнувшей, выжатой из всех пор, из всех мест растерзанной кожи его!.. Несчастная Зеила влеклась к нему по земле, испуская глухие стоны. Приползши, она обняла тело, судорожно сжала его и беспрестанно обтирала кровь с лица и головы Дукмора своими волосами. Так застигла ее ночь. Несчастная уже ничего не понимала: для нее не было ужасов!.. Кроткая, робкая и суеверная черемиска сидела одна, в дремучем лесу, в глубокую полночь, близ мертвого тела и в десяти шагах от издохшего медведя чудовищной величины! Приметно было, что ужас, сосредоточившийся в душе ее, превышал все ужасы в мире. Она продолжала стонать глухо, дико и то отирала кровь волосами, то прижимала их к глубоким язвам мертвого Дукмора.

Трое молодых черемисов, отправленных из деревни Бугры, застали ее в таком положении; они чуть не убежали, сочтя несчастную обаянием Керемета. Но тяжкий стон Зеилы и чарующая красота ее одержали верх над суеверным страхом. Проникнутые глубочайшим сожалением, они подошли к ней, убеждая оставить плачевные останки юноши и идти с ними домой. Несчастная не понимала их, даже не смотрела на них. Наконец, видя бесполезность убеждений своих и не имея духа разлучить ее силою с бездыханным предметом любви ее, они отошли от нее и, зацепя труп медведя веревками, потащили в деревню. Приволокли свою добычу, один из них пошел в Курцем сказать, что видел Зеилу в лесу, сидящую над телом Дукмора. Все женщины в сопровождении своих мужей, братьев, сыновей пошли толпою в лес, нашли бедную Зеилу, все в одном положении, стенящую и обтирающую волосами кровь с лица и головы своего Дукмора. Горько плача, взяли они ее на руки и понесли домой; она не делала никакого сопротивления и только

стонала. Мужчины подняли тело Дукмора, донесли до рощи и там похоронили, недалеко от ключа.

На другой день Зеила пришла в совершенное расслабление; она не стонала более, лежала без движения и без всякого признака жизни, исключая чуть приметное дыхание. После трех недель шептанья, колдованья и невнятного бормотанья всех деревенских шаманов и шаманок, с утра до вечера дежуривших у нар Зеилы, юная черемиска возвратилась к жизни, но рассудок ее навсегда расстроился; она осталась сумасшедшею, и с того времени вот ее род жизни: зиму всю она прилежно работает, но не говорит ни с кем ни слова; когда же настанет весна, сойдет снег, покажутся трава и цветы, Зеила берет ведра и идет на ключ; наполнив водою, ставит их на землю и стоит несколько времени неподвижно на одном месте, устремя глаза в глубь рощи; после начинает прислушиваться; ужас рисуется в глазах ее и, наконец, вскрикнув пронзительно, бежит с быстротою ветра по известной тропинке, прямо в лес, достигает места, где лежало тело Дукмора, бросается на землю, стонет, мечется, наконец, садится на берегу ручья, опускает в него свои волосы и моет их тщательно, припевая слова, которые я, сколько ни старалась, не могла переложить в стихи, так, чтобы сохранить смысл и чувство, какие в них находятся. Вот что поет Зеила, смывая мнимую кровь с кудрей своих:

Бежит, гремит, кипит, клокочет
Волшебный ключ моей страны!
Злой Керемет в лесу хохочет
В часы полночной тишины!

Бежит, гремит, по камням скачет
Волшебный ключ моей страны!
На берегу девица плачет
В часы полночной тишины!

Бежит, гремит, волной сверкает
Волшебный ключ моей страны!
С кудрей девица кровь смывает
В часы полночной тишины!

После двух или трех часов беспрерывного полосканья своих волос Зеила идет к могиле Дукмора, обнимает ее, прижимается к ней лицом, покрывает волосами и остает-

ся так, безмолвно и неподвижно, до тех пор, пока которая-нибудь из ее названных матерей придет взять ее и отвесть домой. Без малейшего сопротивления она повинуется и идет послушно за тою, которая придет сказать ей: «Полно, Зеила, пойдем в деревню — тебя ждут».

Зима прекращает все. Зеила остается в избе, не ходит на ключ, не моет волос и никогда не поет своей песни. Тиха, покорна, трудолюбива, она с утра до вечера занимается делом и даже самыми тяжелыми работами: по наружности, казалось бы, что она спокойна, но ужасная сухощавость, смертная бледность, всегда потупленный взор и беспрерывное молчание показывают невыразимую тяжесть сердечных мук и близкий конец жизни. Тщетно все женщины, на руках которых она выросла и которые любили ее почти более своих собственных детей, тщетно старались не допускать ее к тяжелым работам: не было на это средств, и они, наконец, несмотря на свою простоту, поняли, что терзания души ее превзойдут меру, если она останется хоть на один день в праздности, поняли, что беспрерывное занятие для нее необходимо, и дали ей волю поступать, как она хочет. В первые дни после ее грустного выздоровления они хотели было утешить ее, разговорить, заставить сказать хотя одно слово. — «Да успокойся, Зеила, дитя наше! — говорили они, плача и обнимая ее. — Бесценное дитя наше! Скажи нам что-нибудь! Скажи нам, что у тебя болит? Что тебе надобно? Скажи нам хоть слово, дай нам, ради бога, услышать голос твой! Послушайся же нас, Зеила, не мучь так бедных матерей своих!..» Все было бесполезно. На их ласки, слова и плач Зеила отвечала молчанием, томным взором и тем, что прилегала на грудь той из них, которая сидела к ней ближе; последнее делала она машинально, по какому-то темному воспоминанию детской привязанности, которую имела ко всем женщинам деревни, ее воспитавшим, но приметно было, что теперь она не узнавала ни одной из них. Ужасное состояние! Приближение весны делало в ней ощутительную перемену. Глаза и все черты лица оживлялись, наружное спокойствие исчезало; она была в беспрерывном волнении и каком-то нетерпеливом ожидании. На лице ее изображалось иногда чувство радости, кроткого веселья, уверенности в счастии (увы! навсегда минувшем!). Но вдруг вся физиономия ее изме-

нялась; испуг и страдание рисовались в глазах ее и во всех чертах лица — страдание столь жестокое, что женщины, сидевшие с нею, ломая руки, убегали прочь...

— Боже мой! Вы растерзали мое сердце вашею повестью, но продолжайте, продолжайте, прошу вас, будьте так милостивы и немилостивы вместе!

— Повесть моя приходит к концу. В помешательстве Зеилы было еще одно замечательное обстоятельство. Хотя она зимою никогда не пела своей песни, но всегда болезненно вздрагивала, если слышала кого-нибудь поющего.

— Неужели имел кто-нибудь бесчеловечье петь при ней те слова, которыми она оплакивала свое несчастье?

— Как можно! Нет, да суровые черемисы к тому и неспособны. Но как они поют все одинаково жалобно, вроде какого-то завыванья, то не мудрено, что который-нибудь из звуков напоминал Зеиле ее песню, а с ней и страшную картину полночи в лесу, смерти, ран, крови, картину ее ужаснейшего злополучия.

— Мне, однако ж, странно, что Зеила сочинила песню, видно так, как делают лунатики, что для меня всегда было и будет непонятным.

— Для такой песни, какую сочинила Зеила, не нужно уменья, а просто природная способность к поэзии, которою в высшей степени одарены все черемисы.

— Черемисы — поэты, и еще в высшей степени! Бог вам судья! Вы хотите заставить меня смеяться, когда у меня слезы на глазах.

— Вольно вам и плакать и смеяться невпопад: вы не верили, что у нас есть Серный Ключ, не верили, что я ездила на воды! Но вот теперь вы убедились в двух истинах; так же будет и с поэзией черемисов. Слушайте со вниманием и вникните в то, что буду вам рассказывать... Что вы улыбаетесь? Я не шучу: поверьте, что этот народ — поэты, да еще какие! Импровизаторы!

— От часу не легче!

Взгляд Лязовецкой заставил ротмистра кинуться целовать ее руку.

— Виноват. Право мы, квартируя по деревням, привыкаем бог знает к каким выражениям. Не гневайтесь: я готов верить, дивиться и благоговеть пред черемисами поэтами, импровизаторами, но докажите мне хоть ма-

лейшую возможность такого чуда, не употребляя, однако ж, для убеждения меня, власти вашего пола, требующей безусловного доверия.

— Неисправимый человек! Итак, слушайте: образ жизни черемисов, их нравы, обычаи, язык, тайная привязанность к идолопоклонству, выбор места для жилищ всегда среди лесов — отделяют их совершенно от других племен и осуждают на всегдашнее одиночество. Черемис природно грустен; его не развлекает ни одно из тех упражнений, которыми занимаются его соседи татары, как-то: торговля, мена, переезд из одного города в другой; он не выращивает, не холит коня, не шьет халата, не выделывает ергака; он только пашет землю и зимою ловит белок, чтобы, продав их кожу, купить себе соли. Вот весь круг его деятельности. Разум его, не занятый житейскими заботами, имеет весь досуг погружаться в таинственность нелепых обрядов давней веры, что делает его мрачным, скрытным, недоверчивым; он молчалив даже в своей семье и дышит свободно тогда только, когда остается один. Он уходит в лес, свое отечество, свою стихию, углубляется в чащу его и там без помехи предается вполне природной меланхолии. Там он чувствует себя как нельзя ближе к доброй матери своей, природе, и с восторгом поет красоты ее. Он воспевает, хвалит все предметы, на какие только устремляется взор его. Смотря на красивую березу, могучий дуб, высокую сосну, он поет, что дерево приятно для глаз, что зелены и густы его листья, как снег бела его кора, прохладна тень и гибки ветви, по которым скачет проворная белка. В дубе хвалит он другие преимущества, его крепость и даже назначение.

— Желал бы я слышать: какими словами он приветствует дуб?

— Он говорит: «О, дуб, дуб крепкий, долговечный! Судьбой ты назначен для дальних путей. Ты видишь смерть, несешь богатства, и с ветром буйным ты в вечной борьбе!» О сосне поет, что она высока, пряма, вечно зелена, что неизменяемость ее зелени похожа на постоянство его любви.

— Как? Он и любовь тут вмешивает?

— Разумеется. Странен вопрос ваш, Л...

— Почему странен? Можно быть поэтом без любви, можно и любить и не иметь никакого понятия о поэзии.

— На первое еще могу я согласиться, но последнее невозможно. Нет! Невозможно, было бы даже что-то уродливо. Но возвратимся к моим черемисам. Убедились ли вы теперь, что они имеют дар петь и сочинять в одно время? И не права ли я, утверждая, что черемисы — поэты и импровизаторы вместе?

— Ах, в чем вы не будете правы! Но как я уже всему теперь поверил, не будете ли иметь снисхождения досказать о Зеиле?

— Злая ирония! Повесть Зеилы уже досказана. Зеила покоится теперь подле своего Дукмора. Одна зеленая насыпь покрывает их обоих.

— Так она умерла?

— Да, один из наших чиновников был в тех местах и, возвратясь, рассказывал, что при нем принесли Зеилу мертвую с Дукморовой могилы. В тот день была она бледнее обыкновенного, но так же, как и всегда, пришла к ключу, набрала воды, поставила ведра на землю и стала прислушиваться; так же, как и всегда, вскрикнула, полетела, будто стрела, в лес, но, прибежав на место, где нашла некогда мертвое тело Дукмора, не стонала, не металась по земле, а села спокойно, тихо, оставалась с полчаса погруженною в мысли; потом наклонилась к земле и с нежностью целовала ее несколько раз; наконец, встала и, не подходя уже к ключу, пошла медленно в обратный путь. У могилы Дукмора она затрепетала, упала на нее, с восторгом обняла и так сильно прижалась к ней лицом, что когда подняли уже ее с могилы, мертвую, то увидели, что сухие растения прокололи ей лицо и вонзились до костей.

— Бедная!

— Последнее время женщины, замечая по необычайной бледности и худобе Зеилы, что конец ее уже недалек, не выпускали ее из вида. Всегда одна из них ходила за нею следом; они очередовались в своей печальной должности, и моя бывшая хозяйка, более всех ее любившая, имела горестное преимущество ходить за нею в последний день ее жизни, поднять ее мертвую с могилы и на руках своих принести к себе домой...

Лязовецкая замолчала. Ротмистр также молчал. Печаль закралась в его душу. В воображении его рисовались то прелестная бедная Зеила, с черными глазами и длинными светло-русыми волосами, то стройный, высо-

кий Дукмор, гордый, стоящий на тропе, с блестящим ножом, то слышалось мелодическое пение Зеилы, то плеск ручья, то рев медведя, то хохот злого духа черемисского. Одним словом, он погрузился в глубочайшую задумчивость.

— Не хотела бы я рассказывать еще раз в жизни своей этой истории, — сказала наконец Лязовецкая, вставая с дивана и свертывая свою работу.

— Бедственная участь двух молодых сирот!..

— Маменька! Да что вы не ложитесь спать? — сказал с плачем один из мальчиков. — Посмотрите, ведь уже день!

Ротмистр и прекрасная хозяйка оба взглянули в окно. Восток начинал уже алеть.

— Ах, как я виноват! — вскричал ротмистр, торопливо схватывая свою фуражку. — Я употребил во зло ваше снисхождение! Можете ли вы простить меня?

— Мне не в чем прощать вас,— сказала простодушно Лязовецкая. — Я сама находила удовольствие рассказывать, увлекаясь интересностью происшествия.

Л..., хотя торопливо, но нежно и пламенно поцеловал белую ручку милой хозяйки и ушел. Когда дверь затворилась за молодым уланом, Лязовецкая подошла тихонько к двери кабинета, легонько отворила ее и, видя, что супруг ее спит глубоким сном на своей походной постели, опять притворила. Подошед к кроватке меньшого из сыновей, не перестававшего звать ее, она прилегла к нему. Успокоенное дитя обняло лебединую грудь матери, и оба в ту ж минуту заснули.

■

ПЕРЕПИСКА

№ 1. Н. А. Дурова — графу Х. А. Ливену

(Февраль 1808 г.).

Сиятельнейший граф! Милостивый государь!

Приехав в полк в феврале, нашел я первый эскадрон в Луцке, которым, за отлучкою князя Щербатова, командует майор Дымчевич; я к нему явился и помещен в его эскадрон. Надеясь на милостивое позволение вашего сиятельства относиться к вам во всех своих надобностях, осмеливаюсь доложить вашему сиятельству, что я, издержав деньги, полученные при отъезде, на мундир, получил все необразцовое, и здесь должен переделывать, и не имею на что купить лошадь и нужные к ней приборы; итак, покорнейше прошу ваше сиятельство помочь мне в том случае, как и при отправлении в полк; но теперь мне довольно половины той суммы.

Я не решился бы беспокоить ваше сиятельство этою пустою просьбою, если б мог надеяться жалованьем исправить что нужно; но жалованья нам скоро не дадут, а первого мая будет дивизионный командир смотреть полк и могу получить много неприятностей, если не буду иметь всего, что должен иметь офицер по униформе, и попросив еще раз прощения у вашего сиятельства в моей докучливости, к которой я принужден необходимостью, остаюсь

вашего сиятельства покорнейший слуга

Александр Александров.

№ 2. А. В. Дуров — князю П. А. Вяземскому

23 Генваря 1817 г. Из Сарапула в Петербург.

Милостивый государь, князь Петр Андреевич!

Коли не забыл Дурова, што был в Перми у Обрескова, так помоги ему. Мне сказал Иван Антонович, што вы едете на житье в Петербург, то я туды и катнул к тебе письмо. Ты парень доброй и меня ради бога не забывай, мне и уланам моим помогай.

Я с твоим батюшкой служил вместе, когда он еще был генерал-адъютантом у фельдмаршала Голицына, а у нас во второй армии волонтером на короткое время, а я был прапорщиком; хотя расстояние велико, но приятно было вспомнить — он тогда был молодец красивой.

Ну, это в сторону. А вот, милой князь, об чем тебе сетуем: когда будешь в Питере, тогда дети мои к тебе явятца и скажут, что они принадлежат старому воину Андрею Дурову и о своих нуждах объявят.

Большой улан живет в Петербурге и за 10 лет службы во всю турецкую и французскую войну, а под Бородиным ранена в ногу, Кутузов князь взял ее к себе на ординарцы и отправил курьером ко мне в Сарапул. Он обнадеживал ее, что когда возвратица опять, отдохнувший дома,— будет просить государя императора о награде ее и успокоить старого отца — тоже 50 лет служащего и по днесь продолжающего службу. Князь Смоленский писал два письма к моему улану, просил его поспешнее приехать и эти письма целы, но, хотя улан мой и уехал, но смерть своею тяпкою полководца настигла, и она уже не застала его. Хотела взять в наследство супруга его светлейшая княгиня, чтоб исполнить волю опочившего в бозе князя Смоленского. Я писал к ней, но молчит. Што в таком случае прикажешь делать? И письма она имела в виду Михаила Ларионовича, и Хитров Николай Захарович множество раз уверял меня, и жена его Анна Михайловна, но все тщетно. Не посчастливится ли вам, милой князь? И вторая степень Анны обещана.

Я сие письмо через Ивана Антоновича посылаю, коли не возгордился — то напишете. Я был в гостях у Всеволода Андреевича на заводе его; правда, что живет по-

герцогски. Прожил 10 дней во всех удовольствиях — театры, маскерады, балы, концерты, а любезность хозяина все, кажется, превышала. Поел, попил, хорошо покатался на его бегунах, смотрел завод — знатные кони — подарил моему молодому улану аглинскую кобылу, выезженую, и еще звал на именины 11 февраля, но уже не поеду...

Всегда преданный вам

Дуров пермской и сарапулской

23 Генваря 1817 году

Сарапул

№ 3. А. С. Пушкин — В. А. Дурову

16 июня 1835 г. Из Петербурга в Елабугу

Милостивый государь, Василий Андреевич!

Искренне обрадовался я, получа письмо ваше, напомнившее мне старое, любезное знакомство, и спешу вам отвечать. Если автор Записок согласится поручить их мне, то с охотою берусь хлопотать об их издании. Если думает он их продать в рукописи, то пусть назначит сам им цену. Если книгопродавцы не согласятся, то вероятно я их куплю. За успех, кажется, можно ручаться. Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное, общее впечатление. Что касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность. Предмет сам по себе так занимателен, что никаких украшений не требует. Они даже повредили бы ему.

Поздравляю вас с новым образом жизни; жалею, что изо ста способов достать 100 000 рублей ни один еще вами с успехом, кажется, не употреблен. Но деньги дело наживное. Главное, были бы мы живы.

Прощайте — с нетерпением ожидаю ответа.

С глубочайшим почтением и совершенной преданностью,

честь имею быть, милостивый государь,

Ваш покорнейший слуга
А. Пушкин.

16 июня 1835
СПБ

На Дворцовой набережной дом Баташева.

№ 4. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину

5 августа 1835 г., Елабуга

Не извиняюсь за простоту адреса, милостивый государь Александр Сергеевич! Титулы кажутся мне смешны в сравнении с славным именем вашим. Чтоб не занять напрасно ни времени, ни внимания вашего, спешу сказать, что заставило меня писать к вам: у меня есть несколько листов моих Записок; я желал бы продать их и предпочтительно вам.

Купите, Александр Сергеевич! Прекрасное перо ваше может сделать из них что-нибудь весьма занимательное для наших соотечественниц, тем более, что происшествие, давшее повод писать их, было некогда предметом любопытства и удивления. Цену назначьте сами: я в этом деле ничего не разумею и считаю за лучшее вввериться вам самим, вашей честности и опытности.

Много еще хотел бы я сказать о моих Записках, но думаю, что вам некогда читать длинных писем.

Итак, упреждаю вас только, что Записки были писаны не для печати, и что я, вверяясь уму вашему, отдаю вам их, как они есть, без перемен и без поправок.

Преданный слуга ваш Александров.

Вятской губернии, Елабуга.

5 августа 1835 года.

№ 5. Н. А. Дурова — Н. Р. Мамышеву

23 сентября 1835 года

Милостивый государь Николай Родионович!

Не получая от вас шестой месяц никакого уведомления о моей рукописи, пересланной к вам 4-го апреля этого года, я нашелся вынужденным справиться об этом в Гатчинской почтовой конторе. Не могу ни понять, ни придумать, где она и что с нею сделалось? У меня хочет купить ее Пушкин, Александр Сергеевич. Ежели рукопись у вас, то сделайте милость отошлите к нему в Псковскую губернию в город Остров, в село Тригорское, он теперь там и пробудет до декабря.

Прошу покорнейше, Николай Родионович, отослать ему хоть первую мою рукопись, о которой вы писали мне, что получили; ежели уже вторая пропала; мне хотелось бы кончить это дело скорее, потому что мне до крайности нужны деньги.

Преданный слуга ваш
Александров.

№ 6. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину

30 сентября 1835 г., Елабуга

Не знаю, что мне делать, милостивый государь Александр Сергеевич! Еще в апреле послана была рукопись моя, в трех тетрадях, к Мамышеву, в Гатчино. Первые две он получил, но последняя пропала. Я вправе так думать, потому что шестой месяц, как Мамышев ничего не отвечает мне.

При этой последней тетради был и портрет мой, писанный с меня в шестнадцатилетнем возрасте моем и, разумеется, в том виде, в каком мне надобно было быть тогда.

Я пишу Мамышеву, чтоб он отослал к вам мои Записки; но если вы не получили еще их, прошу меня уведомить: я тотчас пришлю вам подлинник их. Примерное несчастие было бы, если бы он пропал.

Адрес прошу делать на собственное мое имя: Александрову в Елабуге.

Искренне почитающий вас
Александр Александров.

30-го сентября
1835-го года.

№ 7. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину

6-го Генваря 1836 года

Елабуга

Милостивый государь Александр Сергеевич! Мамышев давно уже писал мне, что отослал рукопись мою к вам, итак, позвольте мне узнать ваше мнение об ней и то, угодно ли вам взять ее? В случае если она вам ненадобна, прошу вас покорно переслать ее ко мне обратно.

Преданный слуга ваш
Александр Александров.

№ 8. А. С. Пушкин — Н. А. Дуровой

19 января 1836 г. Из Петербурга в Елабугу

Милостивый государь Александр Андреевич!

По последнему письму вашему от 6-го января чрезвычайно меня встревожило. Рукописи вашей я не получил, и вот какую подозреваю на то причину. Уехав в деревню на три месяца, я пробыл в ней только три недели, и принужден был наскоро воротиться в Петербург. Вероятно, ваша рукопись послана в Псков. Сделайте милость, не гневайтесь на меня. Сейчас еду хлопотать; задержки постараюсь вознаградить.

Я было совсем отчаивался получить Записки, столь нетерпеливо мною ожидаемые. Слава богу, что теперь попал на след.

С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть вашим усерднейшим и покорнейшим слугою.

А. Пушкин.

19 января 1836

№ 9. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину

17-го февраля 1836 года

Елабуга

Милостивый государь Александр Сергеевич!

Рукопись моя, вояжируя более года, возвратилась, наконец, ко мне; я несколько суеверен, и такая неудача заставляет меня пережидать козни злого рока. Летом я приеду сам с моими Записками, чтоб лично отдать их под ваше покровительство; а теперь в замену брат посылает вам мои Записки 12-го года, если вы найдете их стоящими труда, чтоб поправить; они не были присоединены к тем, которые были присланы вам из Гатчино; может быть, я сужу пристрастно, может быть, я увлекаюсь воспоминаниями, но Записки 12-го года мне кажутся интереснее первых.

С истинным почтением честь имею быть вашим покорнейшим слугою

Александр Александров.

№ 10. А. С. Пушкин — В. А. Дурову

17 и 27 марта 1836 г. Из Петербурга в Елабугу

Милостивый государь Василий Андреевич!

Очень благодарю вас за присылку Записок и за доверенность, вами мне оказанную. Вот мои предположения: I) Я издаю журнал: во второй книжке оного (то есть в июле месяце) напечатаю я Записки о 12 годе (все или часть их) и тотчас перешлю вам деньги по 200 р. за лист печатный. II) Дождавшись других записок брата вашего, я думаю соединить с ними и Записки о 12 годе; таким образом книжка будет толще и, следовательно, дороже.

Полные Записки, вероятно, пойдут успешно после того, как я о них протрублю в своем журнале. Я готов их и купить, и напечатать в пользу автора — как ему будет угодно и выгоднее. Во всяком случае будьте уверены, что приложу все возможное старание об успехе общего дела.

Братец ваш пишет, что летом будет в Петербурге. Ожидаю его с нетерпением. Прощайте, будьте счастливы и дай бог вам разбогатеть с легкой ручки храброго Александрова, которую ручку прошу за меня поцеловать.

Весь ваш А. Пушкин.

17 марта 1836 г.
СПБ.

Сейчас прочел переписанные Записки: прелесть, живо, оригинально, слог прекрасный. Успех несомнителен.

27 марта.

Адрес: Его высокоблагородию М. Г. Василию Андреевичу Дурову в Елабуге.

№ 11. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину

7 июня 1836 г. Петербург.

Имя, которым вы назвали меня, милостивый государь Александр Сергеевич, в вашем предисловии, не дает мне покоя! Нет ли средства помочь этому горю? Записки, хоть и напечатаны, но в свет еще не вышли, публика ничего об них не знает, и так нельзя ли сделать таким образом: присоедините их к тем, что сегодня взяли у меня, издайте все вместе от себя и назовите: «Своеручные записки русской амазонки, известной под именем Александрова». Что получите за эту книгу, разделите со мною пополам, за вычетом того, что употребите на печатание. Таким образом вы не потерпите ничего чрез уничтожение тех листов, где вы называете меня именем, от которого я вздрагиваю, как только вздумаю, что двадцать тысяч уст его прочитают и назовут.

Угодно ли вам мое предложение? Не опечаливайте меня отказом. Когда покажете царю мои Записки, скажите ему просто, что я продаю их вам, но что меня самого здесь нет; непостижимый страх овладевает мною при мысли о нашем государе! Может быть он и напрасен, но я не могу управиться с каким-то неприятным предчувствием.

В ожидании ответа вашего остаюсь истинно

почитающий вас Александров.

7-го июня 1836-го года.

№ 12. А. С. Пушкин — Н. А. Дуровой

Около 10 июня 1836 г. Петербург.

Вот начало ваших Записок. Все экземпляры уже на-

печатаны и теперь переплетаются. Не знаю, возможно ли будет остановить издание.

Мнение мое, искренное и беспристрастное, — оставить как есть.

«Записки амазонки» — как-то слишком изысканно, манерно, напоминает немецкие романы. «Записки Н. А. Дуровой» — просто, искренне и благородно. Будьте смелы — вступайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое вас прославило. Полумеры никуда не годятся.

Весь ваш А. П.

Дом мой к вашим услугам. На Дворцовой набережной, дом Баташева у Прачечного моста.

№ 13. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину.

24 июня 1836 г. Петербург.

Видеться нам, как замечаю, очень затруднительно: я не имею средств, вы — времени. Итак, будемте писать; это все равно, тот же разговор. Своеручные записки мои прошу вас возвратить мне теперь же, если можно: у меня перепишут их в четыре дня, и переписанные отдам в полную вашу волю, в рассуждении перемен, которые прошу вас делать, не спрашивая моего согласия, потому что я только это и имел в виду, чтоб отдать их на суд и под покровительство таланту, которому не знаю равного, а без этого неодолимого желания привлечь на свои Записки сияние вашего имени, я давно бы нашел людей, которые купили бы их или напечатали в мою пользу.

Вы очень обязательно пишете, что ожидаете моих приказаний; вот моя покорнейшая просьба, первая, последняя и единственная: действуйте без отлагательства. Что удерживает вас показать мои Записки государю, как они есть? Он ваш цензор. Вы скажете, что его дома нет, он на маневрах! Поезжайте туда, там он, верно, в хорошем расположении духа, и Записки мои его не рассердят. Действуйте или дайте мне волю действовать; я не имею времени ждать. *Полумеры никуда не годятся!* Нерешительность хуже полумер; медленность хуже и того и другого вместе! Это — червь, подтачивающий корни пре-

краснейших растений и отнимающий у них возможность принести плод!

У вас есть враги; для чего же вы даете им время помешать вашему делу и вместе с тем лишить меня ожидаемых выгод? Думал ли я когда-нибудь, что буду говорить такую проповедь величайшему гению нашего времени, привыкшему принимать одну только дань хвалы и удивления!

Видно, время чудес опять настало, Александр Сергеевич! Но, как я уже начал писать в этом тоне, так хочу и кончить; вы и друг ваш Плетнев сказали мне, что книгопродавцы задерживают вырученные деньги. Этого я более всего на свете не люблю! Это будет меня сердить и портить мою кровь; чтоб избежать такого несчастья, я решительно отказываюсь от них; нельзя ли и печатать и продавать в императорской типографии? Там, я думаю, не задержат моих денег?

Мне так наскучила бездейственная жизнь и бесполезное ожидание, что я только до 1-го июля обещаю вам терпение, но с 7-го, пришлете или не пришлете, мне мои Записки, действую сам.

Александр Сергеевич! Если в этом письме найдутся выражения, которые вам не понравятся, вспомните, что я родился, вырос и возмужал в лагере: другого извинения не имею.

Простите, жду ответа и рукописи.

Вам преданный Александров.

24-го июня 1836 года.

№ 14. А. С. Пушкин — Н. А. Дуровой

Около (не ранее) 25 июня 1836 г. Из Петербурга в Елабугу.

Очень вас благодарю за ваше откровенное и решительное письмо. Оно очень мило, потому что носит верный отпечаток вашего пылкого и нетерпеливого характера. Буду отвечать вам по пунктам, как говорят подьячие.

1. Записки ваши еще переписываются. Я должен был их отдать только такому человеку, в котором мог быть уверен. Оттого дело и замешкалось.

2. Государю угодно было быть моим цензором: это правда; но я не имею права подвергать его рассмотрению произведения чужие. Вы, конечно, будете исключением, но для сего нужен предлог, и о том-то и хотелось мне с вами переговорить, дабы скоростью не перепортить дела.

3. Вы со славою перешли одно поприще; вы вступаете на новое, вам еще чуждое. Хлопоты сочинителя вам непонятны. Издать книгу нельзя в одну неделю; на то требуется по крайней мере месяца два. Должно рукопись переписать, представить в цензуру, обратиться в типографию и проч., и проч.

4. Вы пишете мне: действуйте, или дайте мне действовать. Как скоро получу рукопись переписанную, тотчас и начну. Это не может и не должно мешать вам действовать с вашей стороны. Моя цель — доставить вам как можно более выгод и не оставить вас в жертву корыстолюбивым и неисправным книгопродавцам.

5. Ехать к государю на маневры мне невозможно по многим причинам. Я даже думал обратиться к нему в крайнем случае, если цензура не пропустит ваших Записок. Это объясню я вам, когда буду иметь счастье вас увидеть лично.

Остальные 500 рублей буду иметь вам честь доставить к 1-му июля. У меня обыкновенно (как и у всех журналистов) платеж производится только по появлении в свет купленной статьи.

Я знаю человека, который охотно купил бы ваши Записки; но, вероятно, его условия будут выгоднее для него, чем для вас. Во всяком случае, продадите ли вы их или будете печатать от себя, все хлопоты издания, корректуры и проч. извольте возложить на меня. Будьте уверены в моей преданности и ради бога не спешите осуждать мое усердие.

С глубочайшим почтением и преданностью честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою.

Александр Пушкин.

P. S. На днях выйдет 2-й № Современника. Тогда я буду свободнее и при деньгах.

№ 15. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину.

31 июля 1836 г. Петербург.

Пришлите мне мои листочки, Александр Сергеевич! Их надобно сжечь, так я желал бы иметь это удовольствие поскорее.

Я виделся с князем Дундуковым, но рукописи ему еще не отдал; им обоим, я думаю, не до того, у Петра Александровича жена при смерти.

Позволите ли вы мне поместить проданный вам отрывок во вторую часть?

Ваш покорнейший слуга
Александров.

31-го июля 1836 года.

№ 16. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину

22 декабря 1836 г. Петербург.

Милостивый государь Александр Сергеевич!

Имею честь представить вам вторую часть моих Записок. Извините, что не сам лично вручаю вам их, но я давно уже очень болен и болен жестоко. Дела мои приняли оборот самый дурной; я было понадеялся на милость царскую, потому что ему представили мою книгу; но, кажется, понадеялся напрасно: вряд ли скажут мне и спасибо, не только чтоб сделать какую существенную пользу.

Простите, будьте счастливы.

Преданнейший слуга ваш
Александр Александров.

22-го декабря 1836 года.

№ 17. Н. А. Дурова — В. Н. Мамышеву

21 ноября 1861 г. Елабуга.

Милостивый государь Всеволод Николаевич!

Очень приятно мне, что вы напомнили о знакомстве моем с вашим родителем, человеком достойным всякого уважения как по качествам ума и сердца, так и по могучему таланту писателя. С удовольствием вспомнил я

то время, которое провел у него на Воткинском заводе, где он служил тогда.

Что касается до желания вашего видеть имя мое в ряду георгиевских кавалеров, то хотя оно и польстило моему самолюбию, но не знаю — буду ль я иметь право на это отличие: орден мой 5-й степени, и я не знаю, дает ли он право на название кавалера офицеру.

О биографии моей вы можете выправиться в моих Записках. В них подробно описана вся жизнь моя с самого рождения. Книги эти вы можете достать в императорской библиотеке, более нет уже их нигде. Их три: первые две под названием «Девица-кавалерист», а третья просто Записки Александрова. В истине всего там написанного я удостоверяю честным словом и надеюсь, что вы не будете верить всем толкам и суждениям, делаемым и вкривь и вкось людьми-сплетниками.

В Записках моих есть много собственных имен людей, достойных уважения, которые выставлены при не совсем приятных обстоятельствах. Я бы желал, чтоб имена эти были заменены просто начальными буквами или даже звездочками.

Засим свидетельствую вам мое искреннее уважение и остаюсь преданный слуга ваш

Александров (Н. Дурова).

21-го ноября 1861-го года.

Елабуга.

■

АВТОБИОГРАФИЯ Н. ДУРОВОЙ

Родился я в 1788-м году, в сентябре. Которого именно числа, не знаю. У отца моего нигде этого не записано. Да, кажется, нет в этом и надобности. Можете назначить день, какой вам угодно. На 17-м году от роду я оставил дом отцовский и ушел в службу. Подробности этого события и дальнейший ход происшествий, последовавших за вступлением в Коннопольцы, описан в Записках, изданных под названием: «Девица Кавалерист» в двух частях и еще в третьей под названием «Записки Александрова». Вы можете извлечь из них все, что будет прилично по вашему усмотрению. В 1816 году я, по желанию отца, вышел в отставку, хотя с большим нехотением оставлял блестящую карьеру свою.

Заменив уланский колет фраком, я едва не пришел в отчаяние, когда первой часовой, мимо которого я прошел, не стал во строю и не взял на плечо, как следовало при виде офицера. Не принимая в соображение того, что воинские почести отдаются мундиру, а не званию, и что фельдмаршал в партикулярном платье может проходить мимо всех возможных постов военных, не обращая на себя никакого внимания, я не мог выносить такого совершенного отчуждения от главного элемента жизни моей. Постоянная грусть глубоко лежала в душе моей, я не выдержал и через год уехал к отцу, в провинцию, где он служил городничим. Там дни мои потекли мирно и единообразно, с утра до вечера я или ездил верхом или ходил пешком по нашим картинным местам, исполненным диких красот северной природы. Такая усиленная деятельность нисколько не вредила мне, напротив, была даже благодетельна, потому что, вставая в три часа утра,

седлая сам свою лошадь, летая на ней по горам, долам и лесам или пешком взбираясь на крутизны, спускаясь в овраги, купаясь в реках и речках, я не имел времени обращаться мыслями к минувшему (увы! горе мне!), невозвратно минувшему.

Так прошел год. Я опять уехал в Петербург. Общество провинциальное показалось мне нестерпимо скучным. В Петербурге поселился я у дяди своего, Дурова, который был некогда инспектором при карантине в Симферополе, за какой-то недосмотр попал под суд и по делу своему должен был жить в Петербурге. По прежним связам он имел обширное и знатное знакомство, через него и я познакомился со многими из его или сослуживцев или благодетелей, потому что дядя был беден и имел необходимость в пособии старых знакомых. Меня очень ласково примали в доме князя Салтыкова, известного своими музыкальными вечерами. Слепой князь очень любил меня, а я бывал у него почти каждый день. Также много удовольствия находил я в доме князя Дундукова-Корсакова, у которого собиралось всегда отлично образованное общество, и тоже занимались музыкою. Познакомился было и я с княгинею Смоленскою, Кутузовою, женою нашего бывшего фельдмаршала, но знакомство это прекратилось довольно оригинальным образом: один раз я пришел к княгине часов в семь вечера и пробыл у нее до 10-ти. Когда я хотел проститься с нею, кто-то сказал, что идет ливной дождь. «Как же ты пойдешь?» — спрашивает меня княгиня. «Ничего, дойду, я привык». До самой квартиры дяди моего, на Сенной площади, дождь щедро обливал меня с головы до ног — но мне было не до него. Негодование кипело в душе моей: как! думал я, проклятая старуха, имела дух спрашивать меня, как я пойду в такой дождь? Тогда как у нее полные каретники экипажей, а конюшни — лошадей! С тех пор я уже никогда не был у нее. Она, впрочем, продолжала оказывать мне внимание: первая кланялась в театре и, встретясь как-то со мною на Дворцовой набережной, очень обязательно спрашивала: «Что так долго не был у меня? Стыдно забывать жену бывшего начальника». Я отвечал холодно-вежливо, что не имел времени. Поспешил раскланяться и более уже не видал ее никогда.

До издания Записок моих существование мое считалось от многих мифом, а другие полагали, что я не выдержал трудной кампании 12-го года и умер. В последнем уверял меня очень серьезно важной и сановитой господин, сидевший рядом с мной в филармонической зале, где давали концерт. Мы сидели внизу эстрады, на которой играл оркестр, прямо против нас в последнем ряду сидела дама, в розовом платье, смуглая, сухощавая и уже не первой молодости. Я спросил своего соседа, кто она. «Храповицкая, — отвечал он, — жена генерала, который стоит у ее стула». «Говорят, она присутствовала при сражении, где находился муж ее?» — «О, да! — с восторгом воскликнул мой собеседник, — таких штучек у нас не много!» — «Я, однако же, слышал...» — начал было я... Сосед не дал договорить: «Да, появилась было да не выдержала — умерла». Странно было мне это слышать, однако ж я промолчал и очень покойно позволил считать себя умершим. Досадно было мне любопытство, с которым смотрели на меня встречающиеся на гуляньях в саду, по Невскому или в других публичных местах, потому что хотя существование мое и отвергалось многими, истина должна же была по временам оказываться, тем более что у меня были в Петербурге родные: дядя Дуров и двоюродный брат штабс-капитан Бутовский, известный тогда переводом Крестовых походов. У последнего я жил и был знаком с целым кругом его общества. Прожив около трех лет в Петербурге, я уехал в Полтавскую губернию в Пирятин, к дяде, помещику Александровичу, но от него скоро переселился к тетке, вдове Значко-Яворской, жившей близ Лубен — города, известного своей аптекой и съездом в мае для питья соков из трав.

Целый год провел я у моей доброй тетки в теплой, ароматической атмосфере Малороссии. Я поздоровел, повеселел и загорел как цыган, что очень сердило тетку и смешило меня. «Да ведь я солдат, тетенька! Что значит для меня загар?» — «От се! что значыть загар! Та вже ж вы не мужик простый, паныч!» Счастливо и покойно прожил я этот год у моей незабвенной тетки. Но в начале другого года пребывания моего в Малороссии получил я письмо от отца. Он приказывал мне привезти к нему мою сестру, только что вышедшую из Екатерининского института, где она воспитывалась.

Возвратясь в свою провинцию, я оставался в доме отцовском с 1822-го года по 26-й. В течение этого времени отец умер, а брат, занимавший его место городничего, был переведен в этом же звании в Елабугу, куда переехал и я с ним и его семейством. Здесь жил я до 1835-го года. От нечего делать, вздумалось мне пересмотреть и прочитать разные лоскутки моих Записок, уцелевшие от различных переворотов не всегда покойной жизни. Это занятие, воскресившее и в памяти и в душе моей былое, дало мне мысль собрать эти лоскутки и составить из них что-нибудь целое, напечатать. Я занялся этим делом прилежно, в несколько месяцев кончил и, списавшись предварительно с Пушкиным, уехал в Петербург в 1836-м году.

Александр Сергеевич принял меня очень радушно, прочитал мои Записки и на просьбу мою поправить их отвечал, что поправлять нечего и что он предлагает мне свое содействие во всем, что будет необходимо при издании Записок. Все было бы хорошо, если б я, на беду свою, не отыскал двоюродного брата своего Бутовского. Он все дело испортил. У него был какой-то особливый взгляд на вещи, следуя которому он принялся распоряжаться всем, что касалось до издания Записок, посвоему. Горе овладевает мною даже теперь, при воспоминании, что лучшее дело мое в жизни было им втоптано в грязь. На Записки мои еще прежде появления их в свет напала толпа порицателей и клеветников. Чего никогда не случалось бы, если б издателем их не был сумасброд. А тут же Плетнев, искренний друг Пушкина, сказал мне: «Вы напрасно хотите поручить издание ваших Записок Александру Сергеевичу, ему с своими делами трудно справиться; он по вежливости возьмется, но это будет ему в тягость». Так соединилось все, чтоб испортить и затруднить путь мой на литературном поприще, на которое вступил я с такою неопытностию и под таким жалким руководством. Сначала, однако ж, Записки наделали много шуму, кроме того, что происшествие было недюжинное, оно имело достоинство истины, подтвержденной многими и очевидцами и сослуживцами моими. Но вскоре, однажо ж, все, что интересовалось мною, охладело ко мне вдруг. Долго недоумевал я и терялся в догадках о причине такой странности, наконец,

оскорбленный до глубины души незаслуженною переменою; я написал мой «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения». Небольшая книжка эта образумила легковерных, и хотя не назвал никого, но описал их так верно и в таком виде, что они всеми силами старались не узнать себя и, чтоб успеть в этом, обратились снова ко мне с изъявлением ласки и доброжелательства.

Но между тем мне надобно было чем жить. Записки мои, так дурно направленные, принесли мне пользу ничтожную, о втором издании нечего было и думать, первого оставалось еще более 1 000-чи. Я стал писать повести, описывать то легенды, то поверья, то кой-что из рассказов жителей того места, где квартировал, быв еще в службе. Один из этих рассказов, под названием «Павильон», доставил мне знакомство с издателем и редактором «Отечественных записок», журнала, только что начавшего выходить тогда. Я поехал с моим «Павильоном» к Андрею Александровичу Краевскому, прося его купить у меня эту повесть, дать мне вот такую-то цену за нее, тотчас же, всю сполна и, сверх того, взять меня в сотрудники. Приступ странный и просьба дикая, но Андрей Александрович принял все это ласково-вежливо, согласился на все и сказал только, что ему необходимо прочитать статью. Дней через пять он написал мне, что «Павильон» хорош, и отдал мне деньги, как я желал, все вдруг. Бескорыстие и правота молодого журналиста мне очень понравились, и я остался его добрым знакомым на все время пребывания в Петербурге. Наконец «Записки» напечатались. Насилу мог я взять их от издателя и долго пролежали бы они на столе моем, если б к счастью благородный Смирдин не взял их у меня все, то есть 700-т экземпляров, оставшихся от первоначальной распродажи. Это обстоятельство дало мне возможность уехать домой. В 41-м году я сказал вечное прости Петербургу и с того времени живу безвыездно в своей пещере — Елабуге.

Вот все, что я мог припомнить и написать. Посылаю как есть, со всеми недостатками, то есть: помарками и бесчисленными орфографическими ошибками. Было у меня много писем и записок от Пушкина и два письма от Жуковского, но я имел глупость раздарить их.

■

ПРИМЕЧАНИЯ

Помещаемые в данном издании произведения Н. А. Дуровой представляют лучшую часть литературного наследия писательницы, без знакомства с которой нельзя представить себе «рыцарского духа героини этих записок», по выражению В. Г. Белинского, и ее писательского мастерства. Это, прежде всего, «Детские лета мои», «Записки» и отрывок из «Войны 1812 года», объединенные нами под общим заголовком «Записки кавалерист-девицы». Выдержки из этих произведений издавались в 1912, 1941 и 1942 годах.

В книгу включены также «Год жизни в Петербурге», автобиографическая повесть, содержащая, в частности, воспоминания о знакомстве и встречах автора с А. С. Пушкиным, и «Серный ключ» — романтическая повесть из истории марийского народа.

Все публикуемые произведения никогда не переиздавались. В связи с отсутствием автографов тексты печатаются по прижизненным изданиям.

В книгу включена впервые собранная переписка Н. А. Дуровой, обнимающая 1808—1860 годы; значительную часть ее составляет переписка с А. С. Пушкиным.

Письма расположены в хронологическом порядке. Даты писем, взятые в квадратные скобки, авторам не принадлежат.

Орфография и пунктуация текстов художественных произведений приближены к современным нормам.

При подготовке текста художественных произведений были использованы книги сочинений Н. А. Дуровой из личной библиотеки Н. П. Смирнова-Сокольского (Москва), которому пользуемся случаем выразить нашу признательность.

ЗАПИСКИ КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЫ

ДЕТСКИЕ ЛЕТА МОИ

Впервые напечатано в книге «Кавалерист-девица. Происшествие в России», часть I. Издал Иван Бутовский. СПБ., в Военной типографии, 1836, стр. 1—47, с предисловием от издателя: «Сочинительни-

ца предлагаемых здесь записок, двоюродная сестра моя, поручила мне издать их в свет без малейшей перемены. Охотно исполняю желание ее, полагая, что событие, лестное народному самолюбию нашему, и в такую громкую эпоху — во время борьбы с Наполеоном, достойно быть сохраненным для любопытства современников и в воспоминание потомству». Текст печатается по этому изданию.

Стр. 13 — *бабка моя* — Ефросинья Григорьевна Огранович, в замужестве за Иваном Ильичем Александровичем, подкоморием (казначеем) Лубенского повета;

Стр. 16 — *сестра моя Клеопатра* — Клеопатра Андреевна Дурова, род. в 1791 г.

Ахиллес — Ахилл, легендарный древнегреческий герой-полубог; согласно мифу, тело его было неуязвимым, кроме пятки.

Стр. 17. *Граль Ф. X.* (1768—1835) — доктор, инспектор врачебного управления в Перми.

Стр. 19 — *вальтрап* (итальянск.) — покрывало из толстого сукна, надеваемое под седло.

ЗАПИСКИ

Впервые в книге «Кавалерист-девица», стр. 48—159. Текст дается по этому изданию.

Стр. 24 — *лошади из заводных* — запасные верховые лошади, идущие в походе в запасе, в заводе.

Стр. 27. — *Платов М. И.* (1751—1818) — генерал от кавалерии, казачий атаман; в Отечественной войне 1812 г. командовал конным корпусом.

Стр. 30 — *Мегера* (древнегреч.) — богиня мщения, в переносном смысле вообще — злая женщина.

Стр. 31 — *иезуиты* — члены воинствующего католического ордена, основанного в XVI в.

Стр. 32 — *кляштор* (польск.) — монастырь, обитель.

Стр. 42 — *Андромеда* (греч. миф.) — дочь Кефея, отданная в жертву морскому чудовищу и спасенная Персеем.

Стр. 46 — *ведеты* (франц.) — ночной караул, цепь часовых.

Стр. 51 — *редут* (франц.) — временное полевое укрепление.

Стр. 54 — *вагенбург* (устар.) — обоз в армии, то же — построение его в форме каре.

Стр. 60 — *Тильзит* — город в Восточной Пруссии, где в июле 1807 г. был заключен мир между Россией, Францией и Пруссией.

Стр. 67 — *Буксгевден Ф. Ф.* (1750—1811) — граф, генерал от инфантерии, главнокомандующий русской армией в 1807 г.

ВОЙНА 1812 ГОДА

Отрывок из «Записок» — «Война 1812 года» был напечатан в «Современнике» (1836, т. II, стр. 53—132) с предисловием А. С. Пушкина. Полностью эта часть «Записок» помещена в книге «Кавалерист-девица», часть II, СПБ., 1836. Текст дается по этому изданию вместе с входящим в него «Рассказом татарина», не имеющим отношения к войне 1812 года, но характерным для романтической манеры автора; описание приема Дуровой императором Александром I, изобилующее выражением верноподданических чувств, опущено.

Стр. 74 — *фуражиры* — отряд, посланный на сбор корма для лошадей.

Стр. 76 — *Милорадович М. А.*, князь (1771—1825) — генерал, участник Отечественной войны, впоследствии генерал-губернатор Петербурга; во время восстания декабристов смертельно ранен Каховским.

Стр. 79 — *Мансуров Б. А.* (? — 1814) — губернатор Казани с 1804 по 1814 год.

Стр. 80 — *Ермолов А. П.* (1772—1861) — генерал, участник Отечественной войны, был близок с некоторыми декабристами.

Стр. 80 — *Коновницын П. П.* (1766—1822) — граф, генерал от инфантерии, командир дивизии, затем дежурный генерал армии.

Стр. 83 — *волок* — глухой лес, непроезжий бор, из которого выволакивают срубленные бревна на полозках, на волоках.

Стр. 86 — *сборная изба* — изба для сходок, для приезжих.

ПОВЕСТИ

ГОД ЖИЗНИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Книга «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения» вышла в Петербурге, в типографии А. Воейкова в 1838 году. Текст печатается по этому изданию.

Стр. 94 — *брат мой* — Василий Андреевич Дуров, род. в 1799 г., офицер уланского полка, впоследствии служил городничим в Елабуге. В 1834 году попал под суд за неправильные действия при рекрутском наборе. В 1839 г. был назначен городничим в Сарапул. См. о нем примечание к письму № 3.

Стр. 95 — *Мартын Задека* — гадательный оракул, толкователь снов столетнего старца М. Задеки, изданный в Москве в 1821 году.

Стр. 99 — *карандас* (сиб.) — тарантас, повозка.

Стр. 101 — *трактир Демута* — гостиница на набережной р. Мойки; в ней неоднократно останавливался Пушкин.

Стр. 104 — *Коломна* — часть города в старом Петербурге.

Стр. 105 — *Жуковский В. А.* (1783—1852) — поэт; Дурова ошибочно пишет В. П.

Стр. 106 — *П...в* — Плетнев П. А. (1792—1865), писатель, с 1838 г. редактор журнала «Современник».

Стр. 111 — *князь Д...в* — очевидно, князь Дундуков-Корсаков М. А. (1794—1869), председатель цензурного комитета, с 1835 г. — вице-президент Академии наук.

Стр. 112 — *Лерд Домбидейкс* — герой романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница», владелец поместья (лэйрд) Домбидейкс, которого унесла лошадь.

Стр. 120 — *парад-картина* — «Парад на Царицыном лугу», картина Г. Г. Чернецова (1837).

Стр. 127 — *галлицизмы* — слова и обороты, вошедшие в русский язык из французского.

Стр. 129 — *Сганарель, Дон-Жуан* — герои комедий Мольера (1622—1673).

Стр. 132 — *Милон Кротонский* — греческий атлет, живший около 520 г. до нашей эры; неоднократный победитель олимпийских игр; по преданию, однажды поднял 4-летнего быка, обошел с ним 4 раза ристалище и съел его в течение дня.

Стр. 136 — *магазин Смирдина* — книжная лавка издателя и книгопродавца А. Ф. Смирдина (1795—1857) на Невском проспекте в Петербурге.

Стр. 139 — *Гиппельдонц в эпиграмме* — кого имеет в виду Дурова, установить не удалось.

Стр. 141 — *С...на* — очевидно, книгопродавца Смирдина А. Ф.

Стр. 143 — *хромоногого Лесажева беса* — роман франц. писателя Алена Рене Лесажа (1668—1747) «Хромой бес» (1707).

Стр. 143 — *история несчастной Елены* — рассказ Н. Дуровой «Елена Т-ская красавица, или Игра судьбы».

Стр. 144 — *Крез и Ир: Крез* — царь Лидии (560—546 до н. э.), славился своим богатством; Ир — в поэме Гомера «Одиссея» — нищий.

Стр. 145 — *роман г. З...* — по-видимому, роман Загоскина М. Н. (1789—1852) «Юрий Милославский» (1829).

Стр. 150 — *еду на протяжных* — так называлась езда на дальние расстояния без смены лошадей.

Стр. 150 — *«Павильон»* — повесть Н. Дуровой «Павильон» или, иначе — «Людгарда, княжна Го-ти. Рассказ унтер-офицера Рудзиковского», напечатана впервые в «Отечественных записках» 1839 г., № 2.

СЕРНЫЙ КЛЮЧ

Повесть напечатана впервые в сборнике «Сто русских литераторов», СПБ., 1839, том I (Разр. ценз. 30 сентября 1838 г.). В сборник повестей и рассказов Н. Дуровой 1839 г. (часть IV) вошла под титулом «Черемиска. Рассказ исправницы Лязовецкой», с подзаголовком «Черемисская повесть».

Стр. 156 — *Кратес* (нач. V века до н. э.) — современник Аристофана, актер, автор комедий и диалогов.

Стр. 158 — *Лукулл* (106—56 г. до н. э.) — римский полководец, славился богатством и пирами («Лукуллов пир»).

Стр. 164 — *флажолет* — музыкальный инструмент, род флейты.

Стр. 177 — *ергак* — тулуп, выделываемый из конских шкур.

ПЕРЕПИСКА

Эпистолярное наследство Н. А. Дуровой дошло до нас в немногочисленном и разрозненном виде. Основную ценность его составляют письма к А. С. Пушкину, выясняющие историю опубликования «Записок кавалерист-девицы».

Собранная переписка в целом является дополнением к мемуарным произведениям писательницы, помогая уяснению ее личности.

Тексты писем сверены с сохранившимися подлинниками. Письма А. С. Пушкина печатаются по академическому изданию его сочинений.

№ 1. Н. А. Дурова — графу Х. А. Ливену. Февр. 1808 г.

Впервые напечатано в газете «Голос» 1863 г. от 30 декабря, № 346.

№ 2. А. В. Дуров — князю П. А. Вяземскому. 23 января 1817 г.

Письмо отца Н. А. Дуровой — Андрея Васильевича Дурова — поэту, другу А. С. Пушкина князю Петру Андреевичу Вяземскому (1792—1878) хранится в Остафьевском архиве Вяземских.

Публикуется впервые, по автографу Центр. гос. архива литературы и искусства (ф. 195, оп. 1, № 1873), с сохранением орфографии.

Фельдмаршал Голицын А. М. (1718—1783) — князь, русский полководец екатерининского времени.

Большой улан — так А. В. Дуров называет дочь Надежду, служившую в Литовском уланском полку.

Князь Смоленский писал два письма к моему улану — письма М. И. Кутузова к Н. А. Дуровой не найдены.

Хитров Н. З. — зять М. И. Кутузова, живший в Вятке; о нем упоминает Дурова в своих «Записках».

Вторая степень Анны — орден св. Анны 2-й степени, носившийся на шее.

Молодой улан — так А. В. Дуров называет сына Василия.

№ 3. А. С. Пушкин — В. А. Дурову. 16 июня 1835 г.

Печатается по изданию: А. С. Пушкин, Собр. соч., изд. АН СССР., М., 1949, том 16, № 1072.

Блестящий литературный портрет В. А. Дурова оставил А. С. Пушкин: «Я познакомился с ним на Кавказе в 1829 году, возвращаясь из Арзрума... Дуров помешан был на одном пункте—ему непременно хотелось иметь сто тысяч рублей... Недавно получил я от него письмо. Он пишет: история моя коротка, я женился, а денег все нет» (А. С. Пушкин, Собр. соч., изд. АН СССР, М., 1949, т. XII, стр. 167—168).

В книге И. Фейнберга «Незавершенные работы Пушкина», ГИХЛ, М., 1958, изд. 2, указывается, что страницы, посвященные Пушкиным Дурову, заслуживают глубокого изучения, как образцы, в которых проявилось гениальное реалистическое мастерство Пушкина-портретиста.

№ 4. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину. 5 августа 1835 г.

Автограф в Институте русской литературы АН СССР (быв. Пушкинский дом). Печатается по изданию: А. С. Пушкин, Собр. соч., изд. АН СССР, т. 16, № 1084.

№ 5. Н. А. Дурова — Н. Р. Мамышеву. 23 сентября 1835 г.

Автограф Гос. публичной библиотеки РСФСР им. Салтыкова-Щедрина (собрание автографов).

На первой странице приписка рукою Мамышева: «10 октября 1835 отослана рукопись к Пушкину». Впервые напечатано в Отчете имп. публичной библиотеки за 1889 г., СПБ., 1893, стр. 195.

Печатается по автографу ГПБ.

Мамышев Н. Р. (1777—1840) — писатель.

№ 6. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину. 30 сентября 1835 г.

Автограф ИРЛИ (ПД) АН СССР. Печатается по изданию: А. С. Пушкин, Собр. соч., изд. АН СССР, т. 16, стр. 52, № 1097.

№ 7. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину. 6 января 1836 г.

Автограф ИРЛИ (ПД) АН СССР. Печатается по изданию: А. С. Пушкин, Собр. соч., изд. АН СССР, т. 16, стр. 71, № 1118.

№ 8. А. С. Пушкин — Н. А. Дуровой. 19 января 1836 г.

Автограф ИРЛИ (ПД) АН СССР. Печатается по автографу.

№ 9. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину. 17 февраля 1836 г.

Автограф ИРЛИ (ПД) АН СССР. Печатается по изданию: А. С. Пушкин, Собр. соч, изд. АН СССР, т. 16, стр. 87, № 1140.

№ 10. А. С Пушкин — В. А. Дурову. 17 и 27 марта 1836 г.

Автограф ИРЛИ (ПД) АН СССР. Печатается по изданию: А. С. Пушкин. Собр. соч., изд. АН СССР, т. 16, стр. 99, № 1165.

№ 11. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину. 7 июня 1836 г.

Автограф ИРЛИ (ПД) АН СССР (фонд 244, оп. 2, № 1). Печатается по изданию: А. С. Пушкин, Собр. соч., изд. АН СССР т. 16, стр. 125, № 1209.

№ 12. А. С. Пушкин — Н. А. Дуровой. Около 10 июня 1836 г.

Автограф Гос. архива феодально-крепостнической эпохи (Портфель Бюлера, № 146). Впервые напечатано в Русском архиве 1872 г., стр. 199—203. Печатается по изданию: А. С. Пушкин, Собр. соч., изд. АН СССР, т. 16, № 1210.

№ 13. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину. 24 июня 1836 г.

Автограф ИРЛИ (ПД) АН СССР. Печатается по изданию: А. С. Пушкин, Собр. соч., изд. АН СССР, т. 16, стр. 128—129, № 1219.

На маневрах — в 1836 г. проводились большие кавалерийские маневры под Елизаветградом.

№ 14. А. С. Пушкин — Н. А. Дуровой. Около 25 июня 1836 г.

Впервые опубликовано Л. Н. Майковым в Пушкинском сборнике. СПБ., 1899, стр. V—VI. Местонахождение подлинника неизвестно. Печатается по изданию: А. С. Пушкин, Собр. соч., изд. АН СССР, т. 16, № 1220.

№ 15. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину. 31 июля 1836 г.

Автограф ИРЛИ (ПД) АН СССР. Печатается по изданию: А. С. Пушкин. Собр. соч., изд. АН СССР, т. 16, стр. 145, № 1237.

Петр Александрович — Плетнев.

№ 16. Н. А. Дурова — А. С. Пушкину. 22 декабря 1836 г.

Автограф ИРЛИ. Печатается по изданию: А. С. Пушкин, Собр. соч., изд. АН СССР, т. 16, стр. 202, № 1314.

№ 17. Н. А. Дурова — В. Н. Мамышеву. 21 ноября 1861 г.

Автограф Гос. публичной библиотеки РСФСР им. Салтыкова-Щедрина. Печатается по автографу ГПБ.

Желание Дуровой о замене собственных имен в «Записках» начальными буквами или звездочками было выполнено.

Мамышев В. Н. (1823—1891) — сын Н. Р. Мамышева (см. примечание к письму № 5); редактор-издатель «Русской патриотической библиотеки» обращался к Дуровой с просьбой дать автобиографию для его издания «Георгиевские кавалеры».

Надежда Дурова

ЗАПИСКИ КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЫ

Худож. редактор Н. Абдульменева

Техн. редактор А. Трофимова

Корректор Г. Харисова

Сдано в набор 15/III-1966 г. Подписано в печать 15/VI-1966 г. ПФ 02269. Типографская бумага № 3, 84×108 1/32. Учетн.-изд. листов 11,77+вкл. 0,24. Печатн. листов 7(11,76)+вкл. 0,38(0,63). Тираж 100 000 экз. Заказ Н-400. Цена без переплета, без вклеек 34 коп., переплет 15 коп., вклеек 6 коп.

Комбинат печати имени Камиля Якуба Управление по печати при Совете Министров ТАССР. Казань, Баумана, 19. 1966 г.

55 коп.

ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1966